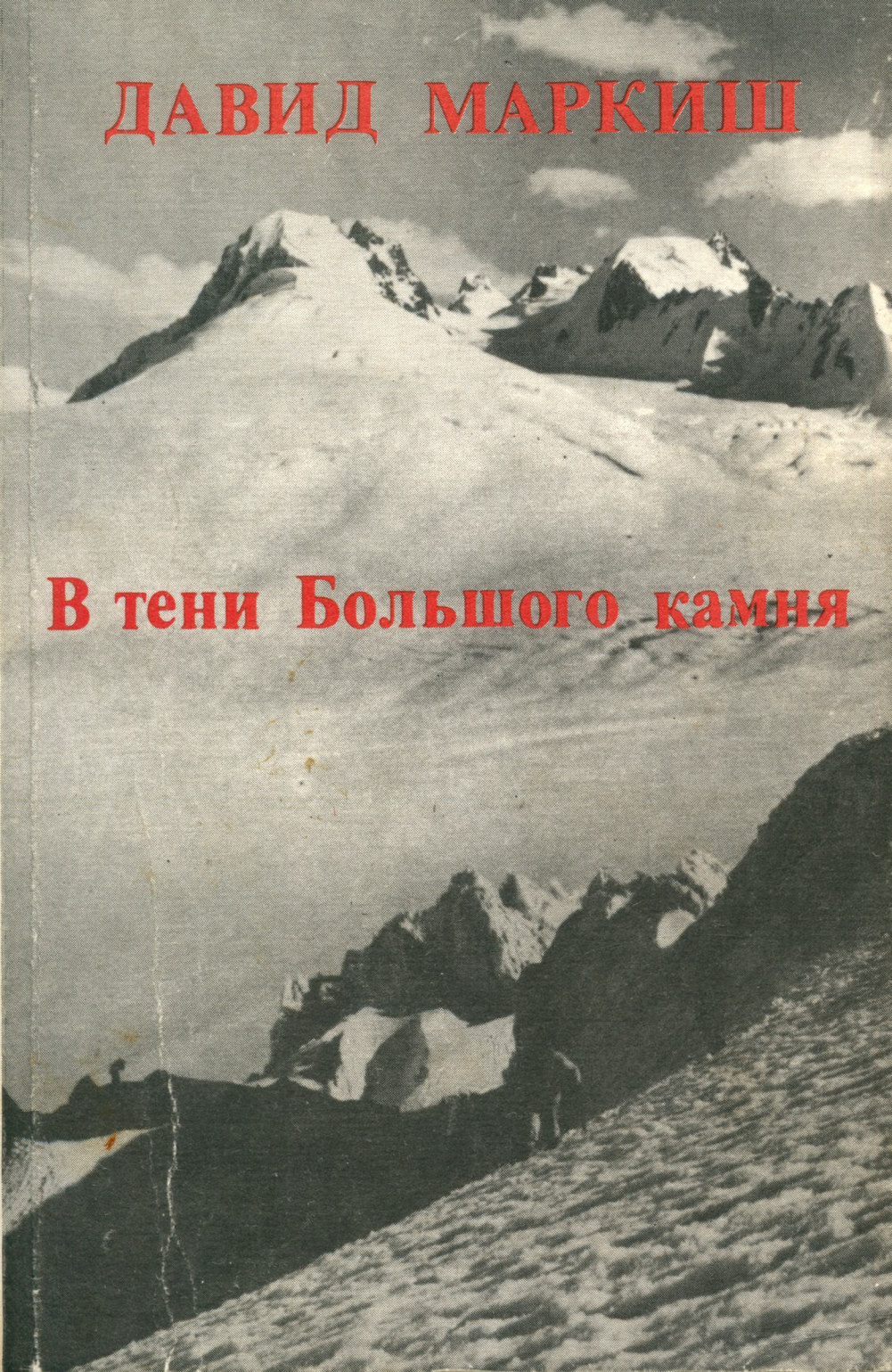


ДАВИД МАРКИШ

В тени Большого камня



е"у

Посвящаю моей матери



דָּאָוִיד מַאָרְקִישׁ

В тени Большого камня

ROMAN

עיריית חיפה
מסרכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
.....מלאי

עיריית חיפה/מינהל החת"ר
האגף לעבודת השכלה נאכזות
הנ"ל מספריות הספרייה בנו"ש
70870/3/53 מס' המלאי

1471/1

ТЕЛЬ-АВИВ

1986

Все права сохраняются за автором

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
ОТЕЦ КАДАМА

*“Если хочешь быть сыт —
не бойся испачкать руки”.*
/ Киргизская пословица /

1

Этот камень, огромный, ох-ряно-коричневый, нависал над самой тропой, над той ее частью, что плавным полукругом огибала плечо горы, образуя овальную площадочку, вытопанный всадниками и пешими людьми пятачок. Пешие люди, впрочем, нечасто встречались в этих местах, где человек без коня значился бы получеловеком, существом неполноценным и не заслуживающим доверия. Площадка эта была тенистым местом, тенистым и сухим; солнце обжигало лишь кромку ее, обращенную к обрыву. Ветер, во всякое время продувавший ущелье, пробивался и проникал под камень уже ослабленным, и это было приятно путникам, остановившимся на площадке для отдыха. Привязав коней к колышкам, вбитым в землю заботливой рукой, люди сидели в тени камня, жевали лепешки с луком и тянули из бурдюков кумыс, приятно дурманивший го-

Первая часть романа „Кадам, убивший сороку (истории из жизни профессионального охотника)”. Полностью роман будет опубликован отдельным изданием в 1982 г.

лову и наполняющий желудок веселой силой. А камень нависал над ними, как дом, и только очень уравновешенный человек мог здесь спокойно жевать свою лепешку, не думая о том, что случится с ним, сорвись камень с места. Но никто, видно, об этом не думал. Отдохнув, люди продолжали свой путь, ведущий из Кызыл-Су мимо камня в Алтын-Киик. Другой дороги не было, вот и ехали этой, и отдыхали в тени.

Никому было неизвестно, какая сила принесла сюда этот камень и какой силой держится он на травяном склоне горы, а не скатывается вниз, в пропасть, на дно ущелья. Ущелье рассекало горный хребет с севера на юг и открывалось в речную долину, верхним своим, западным концом упиравшуюся в язык Великого ледника. Ледник уводил в глубь Памира почти на сто километров, от его истоков тянулись ледяные поля, с которых шапки семитысячных пиков казались близкими — рукой подать. За полями и за пиками начинался Китай или Афганистан либо другие какие страны.

Последним живым местом перед Великим ледником был кишлак Алтын-Киик. Выехав на рассвете из Кызыл-Су и отдохнув немного у Большого камня, всадник подъезжал к кибиткам Алтын-Киика уже в вечерних сумерках. Путь был труден и утомителен и для коня, и для всадника: почти все время ладонная тропа шла по склону ущелья, и глядеть с седла вниз было противно: пятьюстами метрами ниже тропы дергалась и билась река меж небрежно рассыпанных камней, и рев мчащейся воды достигал слуха путников. Глядя вниз, конь косил глазом и прижимал уши, а человека одолевали сомнения. Но ни человек, ни конь не могли себя пересилить и вовсе не заглядывать с тропы вниз, в пропасть, глядели, обмирали, отворачивались и опять глядели. Только на площадке под Большим камнем и можно было спешиться и размять одеревеневшие в коленях ноги.

Так и висел камень над тропой, и ехали люди по своей надобности: киргизы, узбеки. Надобность ехать из Кызыл-Су в Алтын-Киик или в обратном направлении возникала у людей нечасто, поэтому неделями на тропе не появлялся никто, кроме волков и диких горных козлов — кииков.

Ехали, воя задумчивые песни, киргизы, узбеки.

Русские сидели на заставе, в Кызыл-Су.

Кзыл-Суйской заставой командовал Иуда Губельман.

В подчинении Губельмана состоял кавалерийский отряд особого назначения, в тридцать пять клинков, с пулеметом. Губельман контролировал всю Алайскую долину вплоть до перевала Суек. Двадцатикилометровой ширины высокогорная долина населена была редко: три глухих кишлака да кочевники, перегонявшие скот с пастбища на пастбище. Иуда Губельман, возивший в обозе два десятка книжек личного пользования, давно уже пришел к выводу, что все население Алайской долины — басмачи или сочувствующие им и, таким образом, прямой долг отряда — уничтожить их, согласно полученным от командования инструкциям. Еще он понял, что басмаческое движение — это народная война местных азиатских людей против наступающего из Москвы социализма. Такое открытие было неприятно Иуде Губельману; оно, кроме того, никак не согласовывалось с прочитанным в книжках об интернациональной солидарности бедных людей. Сам Иуда Губельман был беден, у него ничего не было, кроме обозных книжек, оружия и коня. Так же беден был и чабан Керим, расстрелянный у стены заставы за то, что по собственной воле вывел из долины полтора десятка ошских басмачей и тем спас их от огня и сабель губельмановских людей. И вот, эта бедность никак не объединяла Иуду с Керимом для совместной борьбы за всемирный социализм и счастье. Керим мешал движению людей к счастью, и его поэтому расстреляли. И не одного еще Керима расстреляют, пока счастье социализма подойдет к порогу нищих кибиток.

Беда была в том, что сам Иуда здесь, на Памире, поколебался в своей вере во всеобщее счастье людей. Он был стойкий человек, Иуда Губельман, и признался себе в этом. Шесть лет назад, в боях с белополяками, и потом, когда подыхал от тифа во вшивом прифронтовом госпитале и когда верно служил в харьковской ЧК — верил свято, верил так, что и малому облачку не дал бы подойти к этой своей вере. А здесь, на Памире, дрогнул: нищие пастухи и охотники, братья по бедности, не желали его, губельманова, всеобщего счастья. Они дорожили своей кочевой независимостью и не желали более ничего. О страданиях своих русских или германских братьев они и слышать не хотели. И за это Губельман должен был их уничтожить в открытом бою или расстрелять у

стены заставы. Он понимал, Губельман, что они своим упрямым и бессмысленным сопротивлением тормозят наступление всепланетной революции, но уничтожать их поголовно — медлил. Будь они воронежскими атаманами или тульскими кулаками, он не стал бы мешкать: те были свои. С этими узкоглазыми людьми в рваных халатах, с чужими, он — медлил.

Это не относилось, разумеется, к цепочкам всадников с ружьями за плечами, объединенных волею командира в почти боевую единицу, — тех он настигал и действительно уничтожал, нередко теряя и своих людей при этом. Но Керим!.. Керим, который не успел почему-то примкнуть ни к цепочке, ни к басмаческой банде.

Не сам факт казни схваченного безоружным Керима тревожил Иуду Губельмана. Сомнение в своей безоговорочной правоте тревожило его. Для того чтобы в отдаленном будущем осчастливить ватагу кишлачных ребятишек, он должен был сначала сделать их сиротами, убить их отцов, превратить великолепную горную долину в кладбище. Об этом он думал, проезжая со своими бойцами по кишлакам, когда эти самые ребятишки, будущие счастливы, разбегались при виде русских, как цыплята от хорька. И думал об этом, глядя на мужчин, которым надлежало быть уничтоженными ради них же самих.

Он забросил свои книжки, давно не листал их.

В России все было иначе, все было проще.

Иногда ему казалось, что он постарел и в этом все дело. Ему стукнуло недавно 27, он случайно вспомнил об этом через неделю после дня рождения. Пять лет назад, в гражданскую, многое представлялось ему иначе. Победить, победить любыми средствами — вот что было тогда главной и единственной целью, а после победы все должно было сделаться хорошо и прекрасно... Победили. Теперь надо сидеть в засадах, рубить и стрелять здесь, в долине, потому что в Москве решили пробивать стратегическую дорогу к южной границе, по которой поскачет в Китай и Афганистан Революция, неся всеобщее счастье на сабельных клинках. Дорога должна пересечь долину, враждебно настроенные к русским местные жители будут мешать строительству. Поэтому надо ликвидировать местных жителей. Все совершенно ясно. С точки зрения революционной теории все эти Керимы и Кудайназары не прониклись еще чувством интернационального братства.

Кстати, о Кудайназаре...

Он появился на заставе под вечер — Кудайназар из Алтын-Киика. Он приехал на крупном кауром жеребце, в седле перед ним сидел круглоголовый мальчик лет пяти. Не сходя с седла, приезжий тихонько толкнул ворота носком сапога и, убедившись в том, что заперто, несколько раз ударил в дощатую створку рукоятью камчи*.

За его действиями с дозорной вышки наблюдал, щурясь от близкого закатного солнца, боец Бабенко Николай, брат Ивана.

— Тебе чего? — закричал Николай Бабенко, немного перегнувшись через барьер вышки. — Чего надо?

— Чего кричишь? — вместе с жеребцом поворачиваясь к дозорному, сказал Кудайназар. — Значит, надо, раз пришел.

— Вижу, что пришел, — еще повысил голос Николай. От голосового напряжения он стал багров, выгнутые соломенные бровки распрямились и сошлись над переносьем, над синими кругляками глаз в редкой опушке желтых ресниц. — Небось, не слепой!.. Ты кто будешь, тебя спрашивают?

— Ну, Кудайназар, — обронил приезжий всадник и, тронув тугой повод, вновь оборотился к воротам.

— Отвори ему! — указал кому-то Бабенко, перегнувшись теперь внутрь заставы.

Но там уже и без его указаний гремел железным засовом дежурный, прибежавший на стук и выглянувший в смотровое оконце.

— Мне к начальнику, — сказал Кудайназар дежурному и, въехав во двор, спешил к конюшням. Пока он привязывал жеребца, мальчик оставался в седле один. Это ему было приятно, он удобно сел, выпрямился, расправил плечи и поглядывал по сторонам свысока, как будто бы это он был хозяином каурого коня. А солдаты, лузгавшие семечки позади конюшни, глядели поровну на крупного, сильного коня и на крупного, сильного киргиза, приехавшего на этом коне на заставу. Сильный был жеребец, хороший.

— Пошли, Кадам, — сказал Кудайназар и снял сына с седла.

Сплеывая лузгу, стряхивая ее с груди гимнастерки, к конюшням вразвалку подошел Бабенко Иван, брат дозорного Николая

* Нагайка.

и его близнец. Он был на полголовы покороче Кудайназара, но шире в плечах, кряжистей.

— Джорго*? — со знанием дела спросил Иван Бабенко и любовно оттянул жеребца ладонью по высокому крупу. — Хороша скотинка... Махнемся?

— Джорго, — помедлив, подтвердил Кудайназар. — Ты здесь давно в долине, урус? У нас коня и камчу не меняют. Дарят, — и резко повернувшись на каблуках, зашагал к дому в глубине двора.

Кадам потрусил за отцом.

— Так подари, я возьму, чего там! — то ли шутя, то ли всерьез крикнул Иван в спину уходившему Кудайназару. Братья любили покричать.

Кудайназар остановился, поглядел на Бабенко без улыбки, разъяснил толково:

— Лучшему другу дарят. Ты мне чужой человек, — и зашагал дальше.

Солдаты за коновязью засмеялись, заговорили все вместе:

— Ну, дал он тебе прикурить!

— Нашел дурака: "подари"!

— Да у него жену легче забрать, чем коня!

Кудайназар, более не оборачиваясь и ничего не разъясняя, переступил низкий порожек и вошел в большую, полутемную в этот час комнату дома. За столом, спиной к низкому, мелкому окну сидел Иуда Губельман, командир. Он сидел, облокотившись о столешницу и уперев подбородок в сцепленные замком тонкие, почти нежные пальцы. У его локтя находились кавалерийская фуражка, надколота пиала с чаем, огрызок черного от грязи сахара и перевернутая на спину свежая киргизская лепешка.

— Садись, — сказал Губельман и, не оторвав подбородка от сведенных ладоней, кивнул на лавку, стоявшую перед столом.

Кудайназар молча опустился на лавку, рядом с ним, вплотную к его боку, примостился Кадам. Его голова пришлась вровень со столешницей, он обежал взглядом настольные предметы и сердито уставился на лепешку.

Губельман усмехнулся, расцепил наконец руки, перевернул лепешку донцем книзу.

* Иноходец.

— Так — годится? — сказал он, глядя на Кадама, и ребенок смутился, заерзал на лавке.

— Это у нас обычай такой, — обняв сына за плечи и прижав его к себе, сказал Кудайназар. — Кто лепешку брюхом вверх кладет — у того брюхо пустое будет, хлеба в доме не станет.

— Знаю, — сказал Губельман, снова уместая подбородок в ладони. — Не заметил просто.

Так они посидели еще с минуту молча — Кудайназар и Иуда Губельман. Нечасто киргизы сами по себе заглядывали на Кзыл-Суйскую заставу.

С открытым любопытством разглядывал Кудайназар командира за столом — его круглое горбоносое лицо с оттопыренными, растрескавшимися от горного солнца и ветра губами, его выпуклые, чугунного цвета глаза под костяными шишками надбровных дуг. Квадратный лоб Губельмана был рассечен наискось розовым чистым шрамом, уходившим в волосы, в жесткие заросли темных волос.

— Я слышал, повар ваш разбился, узбек, — сказал Кудайназар, не отводя глаз от командира заставы. — Ноги сломал.

— Верно, — сказал Губельман и согласно кивнул. — Ногу сломал и руку... Ты что, наняться хочешь? Я бы взял тебя, временно пока, а потом поглядим.

Временно пока, думал Иуда Губельман, а потом поглядим. Потом, когда узбек встанет, можно будет оставить его кем-нибудь, скажем, коноводом или даже проводником. Или толмачом*. Что-то такое есть в этом киргизе. Только вот — что?

Кудайназар вытянул из складки поясного платка чистый тряпичный мешочек, положил его на стол, рядом с лепешкой.

— Я охотник, — сказал Кудайназар, — сам себе хозяин. Узбек вылечится, будет тебе плов варить... Это — мумие, — Кудайназар вытряхнул из мешочка несколько смолистых коричневых крупинок. — Дай узбеку, он через десять дней пойдет.

— Он твой родственник, что ли? — недоуменно спросил Иуда, катая коричневую крупинку пальцем по столу. Он много слышал о мумие в Памирских горах, но видел его сейчас впервые.

— Какой там родственник! — если и без возмущения, то достаточно решительно отверг Кудайназар предположение Иуды. — Он

* Переводчик.

узбек, я — киргиз. Узбеки торгуют, или вот повара. А мы, киргизы, — охотники, чабаны... Просто лечиться надо человеку!

— И ты специально для этого, что ли, приехал? — Иуда коротко, колко взглянул на Кудайназара. — Ты сам откуда?

— Из Алтын-Киика, — сказал Кудайназар. — Узбек тут ни при чем, он и голову себе мог сломать...

— Так что же? — настаивал, уже как на допросе, Губельман. Кудайназар вдруг улыбнулся безмятежно.

— Что ты так, начальник... — сказал Кудайназар. — Интересно мне было поглядеть на тебя, поговорить — вот я и приехал. Ты в долине хозяин, а я у себя в Алтын-Киике. Мы ведь соседи.

Иудины глаза округлились, стали похожи на тяжелые металлические таблетки. Он нарочито закашлялся, срывая смех, подкативший к горлу.

— Советская власть здесь хозяйка, — сказал Губельман, снова глядя на гостя с дружелюбным интересом. — И в долине, и у тебя в кишлаке. Ты понял, охотник?

— Нет, — твердо сказал Кудайназар. — Раньше здесь, в Кзыл-Су, сидел Узбой. Ты убил его и сам сел. Значит, ты и есть советская власть... А у нас в Алтын-Киике чужих нет. — И заключил с гордостью: — Там моя родина!

— Ты хороший парень, — вздохнув, сказал Губельман. — Сколько тебе?

— Двадцать шесть, — сообщил Кудайназар.

— Ты, вообще-то, знаешь, зачем я сюда пришел, кто я? — продолжал Губельман терпеливо.

— Урус *, — помешкав, сказал Кудайназар. Он произнес это как нехорошее, ругательное слово.

— Да не в этом дело! — махнул длинной рукой Губельман. — Да я и не русский, а еврей, между прочим! Ты знаешь, что это такое? Слышал когда-нибудь?

Кудайназар вежливо пожал плечами:

— Это для нас все равно, начальник...

Иуда снова округлил глаза, покачал головой.

— Не может такого быть, счастливый ты человек... — сказал Иуда. — Нет такого человека, которому это было бы все равно. Вот отец твой, он был — кто?

* Русский.

— Его лавиной снесло года три назад, — рассказал Кудайназар. — Пропал.

— Да я не о том, — уже без азарта, медленно махнул рукой Губельман. — Твой отец жил, как ты, думал, как ты... А мой...

Губельман замолчал, уперся глазами в кавалерийскую фуражку на столе. Что рассказать охотнику Кудайназару из Алтын-Киика о покойном бондаре Лейбе-Авруме Губельмане из местечка Гусятичи? О его бедности? О том, как он ел по праздникам красный хрен, макая в него халу? Или о том, как он проклял его, Иуду, за то, что ушел вместе с гоями исправлять очевидную несправедливость мира и воевать за будущее всеобщее счастье, — вместо того, чтоб клепать бочки под навесом на заднем дворе и ходить в синагогу, прицепив ко лбу молитвенный ящичек?.. Как, интересно знать, реагировал бы покойный Лейб-Аврум, нагрянь в Гусятичи Кудайназар с вооруженным отрядом и рецептом счастья на все времена? Никак, скорее всего: сидел бы дома или перебрался в соседнее местечко. А сам Иуда как бы реагировал? Воевал бы за свою родину Гусятичи? Едва ли.

— Если я пошлю в Алтын-Киик солдат и объявлю там советскую власть, — спросил Иуда, — ты будешь со мной воевать?

— Да, — сказал Кудайназар. — Буду воевать, начальник.

— Но это же бессмыслица! — крикнул Губельман. — Что ты будешь защищать? У тебя же ничего нет, и у меня ничего нет! За что же мы будем воевать?

— Как за что! — нахмурился Кудайназар и отодвинулся немного от стола. — За Алтын-Киик. Нам Кызыл-Су не нужен, живи здесь, если хочешь.

— Но ты же погибнешь, — сказал Губельман. — Ты знаешь, что погибнешь?

— Не посылай солдат, — твердо сказал Кудайназар. — У нас нечего взять. В долине вон сколько земли, живи здесь, начальник!

— Есть хочешь? — помолчав, спросил Иуда и, разломив лепешку, протянул половину Кудайназару.

Кудайназар отщипнул кусочек, зажевал степенно.

— Сахар вот, держи! — он ребром ладони придвинул обломок сахара к лицу Кадама, выглядывавшему из-за стола. — Бери, не бойся... Вот ты, — он снова повернулся к Кудайназару, налег грудью на край стола, — ты хочешь, чтобы твой сын в школу пошел, научился читать?

— Это дело другое, — Кудайназар отщипнул от лепешки другой кусочек, меньше первого. — Я — не хочу. Пока не хочу. А если захочу, в город его пошлю учиться, там школы есть.

— Ну вот, вот видишь! — безнадежно обрадовался Губельман. — Зачем же его куда-то посылать, когда в самом Алтын-Киике, на месте можно открыть школу, всех детей учить!

— Не надо всех детей учить, — тихо сказал Кудайназар. — Пусть учится кто хочет. Если все на свете будут ученые, кто ж кому тогда будет верить? Кого будут люди уважать? Перегрызутся все, как собаки: каждый дурак будет доказывать, что он умней другого... Большой беспорядок от этого произойдет, начальник.

— Ты что ж, — устало вскинулся Губельман, — думаешь, что невежество — это дорога к счастью?

— У нас тут одна дорога, — сощурился Кудайназар, — от Алтын-Киика до Кзыл-Су и обратно... Ты вот ученый, а я нет. Так что ж, ты счастливей меня?

— Ты, я — это ничего не значит, — проворчал Губельман. — Ты думаешь, в мире, кроме Кзыл-Су да твоего Алтын-Киика, ничего нет. А в мире люди кровью плачут, потому что плохо им, плохо!

— А как же иначе! — живо откликнулся Кудайназар. — Мы ж люди, у нас всегда так: кто плачет, кто смеется. Если кому плохо — значит, душа у него болит, душа больная, и ты ему никаким учением не поможешь: он нож возьмет, пойдет людей резать... Нам вот хорошо в Алтын-Киике, а ты хочешь солдат послать, убить меня — оттого что за горами люди плачут. Что им от этого — лучше, что ли, станет? Не лучше и не хуже. Зачем же я должен в землю лечь, скажи, начальник?

— Умел бы ты книжки читать, — сказал Губельман, с силой проведя ладонями по лицу, — тогда б таких вопросов не задавал дурацких.

— У нас в Алтын-Киике, — возразил Кудайназар, — есть один старик, Абдильда, он Коран читает, знает грамоту — а думает, как я, как все мы.

— Значит, не те книги читает, — сказал Губельман. — Коран!..

— Так, выходит дело, — зачистил Кудайназар, — чтобы счастливым быть, надо только *те* книги читать, а *другие* для этого не подходят? Но люди-то ведь не камни: если половина людей *те* книги будет читать, а другая половина — не *те*, то тогда кто ж прав? Первые или вторые? Ведь каждый человек думает, что он прав, а другой просто дурак какой-то, глупый человек. Так что ж, из-за этого

надо воевать, кишлаки жечь? Ты мне объясни, может, я чего не понимаю, начальник!

Иуда поморщился, как будто взял в рот дольку лимона — и вдруг отчетливо вспомнил этот давным-давно забытый вкус, пахучий и кислый до приятной дрожи. Когда ж это он ел лимон в последний раз? Пожалуй, еще дома, мальчишкой: низкая комната, тяжелый стол почти от стены до стены, светящийся рубиновый чай в стаканах и эти вот кислейшие полусолнышки в глубоком стеклянном блюде... Вот странно: вспомнил. Зачем?

Как он сказал, этот охотник: "жечь кишлаки"?

— Какие там кишлаки... — вздохнул Иуда. — Ты мне скажи-ка вот что: ты лимон пробовал когда-нибудь? Желтый такой?

— Лимон? — переспросил Кудайназар. — Он сладкий?

— Сладкий, — сказал Иуда. — Пусть будет сладкий.

— Нет, — сказал Кудайназар. — Никогда не пробовал.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал Иуда. — А если я к тебе один приеду, без солдат? В гости?

— Приезжай, — сказал Кудайназар подумав. — Барана зарежу.

— Хоп*, — подбил итог Иуда и легонько шлепнул ладонью по столу. — У тебя один пока? — он взглянул на Кадама, сидевшего терпеливо. — Или еще есть?

— Пока один, — сказал Кудайназар и погладил сына по голове. — Ты мумие узбеку отдай, по утрам пусть пьет... Приедешь, значит, в Алтын-Киик?

— Приеду, — сказал Иуда и легко поднялся из-за стола. — Ночевать буду у тебя. — Он был короткошей, длиннорукий, с хрупкими жилистыми кистями, с тонкими, почти нежными пальцами.

Солдаты все грызли семечки позади коновязи и угрюмо слушали, как, подыгрывая себе на трехрядке, чистым ровным голосом поет Бабенко Иван:

— Россия милая!
Избы вечерний дым
Не виден за далекими холмами... —

пел солдат для собственного удовольствия и приятной грусти души. Увидев Кудайназара, Бабенко отложил гармонь и шагнул наперерез его пути.

* Хорошо, лады.

— Стой, джорго! — крикнул Иван и растопырил руки, словно бы собираясь принять в шутливые объятия шибко шагавшего Кудайназара. — Коня не хочешь дарить — давай хоть нож, память чтоб была! Вон у тебя бучак* какой, ханский: рукоятка узорная. Давай, не жидись!

— Нож дарить — плохая примета, — остановился Кудайназар. — Врагами будем.

— Тебе ж хуже, брат! — успокоил Бабенко. — А я тебе, хочешь, свой отдам: у беляка одного снял, под Бережным. На, бери, не жалко!

Кудайназар, поворачивая, придирчиво осмотрел кинжал: обоюдоострый клинок светлой стали, простая деревянная рукоять с насечкой, чтоб не скользила в ладони. Обыденное орудие убийства.

— Ладно, давай, если просишь, — тускло сказал Кудайназар, отцепляя свой бучак от поясного ремня.

— Чтоб на дружбу! — радовался Бабенко, вертя в руках богатый Кудайназаров нож. — Тебе — немецкий, а мне — чучмецкий. Ишь ты, рукоятка-то с серебром!

Кудайназар, обойдя радующегося Бабенко, подошел к коновязи, отвязал, не глядя на молча глазающих солдат, своего жеребца, поднял в седло Кадама, потом вскочил сам и поехал со двора заставы.

4

Что взять в лавке, на базарной площади?

Керосин взять, полмешка муки. Взять спички, хотя огниво надежней; но пусть Каменкуль порадует. Что еще? Да вот и все, пожалуй. Да, мыло! Ну и все... Чтоб не вышло, что зря гонял коня из Алтын-Киика в Кызыл-Су, что ночевал здесь у тридесятой родни и весь вечер слушал пустые разговоры о ценах на мясо и на шерсть. Итак:

— Эй, лавочник! Керосин, мука, спички, мыло.

Это даже лучше, что нет лавки в Алтын-Киике. Ну, так что ж, что приходится ездить сюда, в Кызыл-Су, за щепоткой соли! Зато нет нужды глядеть каждый день на такого вот лавочника, кото-

* Нож.

рый и с десяти шагов в киика не попадет из винтовки. Человек должен уметь прокормить себя — а лавочник кормит других, отгрызая серебряные крошки от чужого куска. Бессмысленный человек, ставящий серебряную крошку выше золотого куска! Человек, считающий чужие деньги в собственном кармане.

— Считай, лавочник!

Старик Абдильда — тот, правда, тоже любит складывать монетки в столбики, но эта привычка появилась у него уже после того, как он бросил разбойничать на большой караванной дороге, ведущей в Китай. Теперь он тихо сидит на своих монетках в Алтын-Киике, на мельнице у ручья, и рассказывает всем, желающим его слушать, о преимуществах мирной жизни перед грабительской: и спокойно, и безопасно, и хлеб из своего тандыра* вкусней, чем из чужого. Дети приходят, слушают... Но если надо, Абдильда и сегодня человека развалит с первого удара пополам до самого седла: и память осталась, и сила. А у лавочника — что? Курдюк один!

— Давай живей, лавочник!

Жадный он, Абдильда, вот что плохо. На весь Алтын-Киик только у него у одного сепаратор есть, а он никому не дает. Вот бабы и сбивают масло палкой в ступе часами целыми, а Абдильда ручку покрутит — и готово. А попроси у него этот самый сепаратор на полчаса — даже разговаривать с тобой не захочет. За деньги — и то не даст. Такой вот странный насчет сепаратора человек! А голова у него еще хорошо работает. Как узнал про эту поездку к русскому начальнику в Кызыл-Су — сразу прибежал со своей мельницы: поезжай, дорогой Кудайназар, погляди, что там, да как там, да нельзя ли от русских откупиться, чтоб к нам сюда не шли... Как же, откупишься от этого горбоносого! Он, может, тебя и не застрелит, но разговорами своими в могилу все равно сведет. Ехал бы себе обратно в Россию, там бы и разговаривал! Школу он хочет в Алтын-Киике построить. Сначала школу, потом лавку. Чтоб люди научились деньги считать и заболели беспокойством души. Всякий ученый человек хочет на высоком стуле сидеть, так что если всех выучить, то и стульев не хватит, и люди за эти стулья начнут друг другу зубами глотку рвать. Вот, например, если всех людей выучить на лавочников — что ж тогда с миром произойдет? Кто тогда будет кииков стрелять в горах,

* Печь для выпечки лепешек.

ловить барсов, жечь костры на ночных полянах? Не приведи Бог, чтоб свободные люди выучились на лавочников.

— Долго ты еще, лавочник?

Этот, горбоносый, на лавочника непохож. Кто его знает, чему и учился. И имя у него какое-то нерусское. А впрочем, кто их, русских, разберет... Вот приедет в Алтын-Киик как обещал — там, может, попонятней станет, чего он по-настоящему хочет. Откупиться-то от него не откупишься, — а как приедет, поглядит, увидит, что ни школы нам его не надо, ни счастья его — так и уйдет. Он вроде не такой уж и свирепый, как о нем говорят.

— Все, что ли, лавочник? Кидай в курджун*... Пошли, Кадам, поедем.

Вот и камень — во-он он, как коричневый кулак, торчит из склона, грозит всему этому тихому и чуткому миру, составленному из близкого неба с золотым пузырьком солнца в нем, из голубеющей пропасти с зеленой речкой на дне, из редких людей и волков. Да грозит ли в самом деле? Или он, как путник или волк, как небо или рев реки, лишь составляет часть этого мира? И тень его — свежа и прохладна, и грани его тяжелы и красивы. И когда заглядываешь с площадки вниз, в пропасть, — тебе делается неспокойно и покалывающий холодок бездны заползает в душу, и ты рад, что так ободряюще велик камень за твоей спиной и так прочен он на склоне обрыва.

Переложив повод, Кудайназар подогнал коня к колышку в глубине площадки, спешился и снял Кадама с седла.

— Отдохнем, — сказал Кудайназар. — На, держи!

Кадам молча принял хлеб и пласт дикого темного мяса на ребре, зажевал не спеша.

— Он урус? — спросил Кадам, проглотив первый кусок и потянувшись за луком. — Этот начальник?

— Урус, — подумав, сказал Кудайназар. — Конечно, урус. А вроде и не урус.

— Он же оттуда пришел, — сказал Кадам и показал рукой откуда — из-за хребта, из-за тридевяти земель, из России.

— Оттуда, — горько согласился Кудайназар. — Там делают пулеметы.

— Что это — Россия? — спросил Кадам. — Долина?

* Чересседельная переметная сума.

— Очень большая долина, — уточнил Кудайназар, — огромная. Там живет их царь, теперь он называется Ленин.

— Зачем царь Ленин прислал к нам урусского начальника? — спросил Кадам. — Почему?

— Не к нам, — строго уточнил Кудайназар. — Он прислал его в Кыл-Су, а не к нам в Алтын-Киик.

— Зачем? — продолжал допытываться Кадам. — Хан Узбой напал на царя Ленина?

— Не было такого, — перегнувшись через край площадки, Кудайназар зло сплюнул в пропасть. — Узбой ни на кого не нападал. Просто он поставил охрану в горле своей долины, и начальник Иуда убил его за это.

— Тебя он тоже убьет, папа? — Кадам потянул отца за рукав. — И меня, и маму?

— Этого я не знаю, — разъярил Кудайназар, наклонясь к сыну. — Если царь Ленин велит ему идти на Алтын-Киик, я отправлю тебя с мамой на Ледник и буду воевать с урусами.

— У тебя есть пулемет? — заговорщицки понизил голос сын.

— Нет, — сказал отец. — Нет пулемета... Но у меня есть карабин и карамультук*. И еще карамультук Абдильды.

— Тогда хорошо, — сказал Кадам и, подражая отцу, независимо цыкнул слюною в пропасть.

Там, в пропасти, ниже камня и тропы, парила пара соколов-сапсанов, самец и самочка. Зависнув в столбовом воздушном потоке, неощутимом для пешехода и всадника, они чуть заметно поводили длинными узкими крыльями, скошенными назад. Они как бы стремительно летели, — но оставались на месте, а чистый ветер летел и мчался, обтекая их, вдоль ущелья, от горла к устью. Помещенные между тропой и голубеющим дном ущелья, они скрадывали головокружительную опасность глубины, и властный страх падения и смерти в красивой голубизне оставлял наблюдателя, заглядывающего с площадки в провал.

— Поедем, — сказал Кудайназар. — Вечер скоро...

Он подошел к жеребцу, поправил седло, рывком подтянул, упершись коленом в высокий конский бок, подпругу. Потом, выведя жеребца, еще раз, мельком, заглянул в пропасть — птиц не было там, ничем не помеченное голое пугающее пространство упиралось в дно ущелья, в камни реки.

* Старинное киргизское ружье.

— Поехали... — ворчливо повторил Кудайназар, подымаясь в седло. Он и сам не знал толком, что не хватило ему, не достало двух соколов в пропасти, под ногами.

Он выехал с площадки, пустил жеребца иноходью, забыл о птицах.

На перевале Терсагар* сошлись воедино борта ущелья, дно его, тучи неба: четыре направления мира. Стоя на струганной солнечными ветрами и пургами доске Терсагара, глядишь на мир как бы с верхней его точки, выше и открытей которой нет.

Таких перевалов немало в Памирских горах.

Проезжать Терсагар следует быстро, не задерживаясь для восторженного обзора: вечер близок, а спуск к Алтын-Киик^у долг и крут, восемьсот метров спуска. Стоит все же натянуть на миг поводья на кромке перевальной доски, прежде чем начинать трудную работу спуска. Прямо перед тобой, на том берегу ущелья Мук-Су, три ледяные и каменные головы шеститысячников; на них можно смотреть прямо — не задирая подбородка и не придерживая шапки рукою. Срединная голова, высвеченная чистым закатным солнцем, похожа на золотого киика, закинувшего на спину рога... А глубоко внизу, под копытами коня — кишлак Алтын-Киик**, зеленое и розовое пятнышко, жизнь людей, скота и рощи, дом Кудайназара.

Конь переступает, просит повода, смотрит вниз: розовое и зеленое пятнышко, уютная темнота стойла, сладкий запах навоза.

— Йо-о, джорго!

Восемьсот метров спуска.

5

Подъехали к кишлаку в свежей, душистой темноте: пахло вечерними цветами, кизячным дымком, мясной похлебкой. В арчатнике, по левую руку от тропы, забрежал, зашелся чуткий пес Абдильды. Поближе к тропе, на голом месте, посверкивала оконным огоньком кибитка смиренного Гульмамада, бывшего сурков и зайцев и жившего в одиночку. Кишлачные киргизы молча не

* Струганная доска (кирг.).

** Золотой Киик (кирг.).

одобряли молодого Гульмамада за его занятие: заяц был несерьезным, почти игрушечным зверем, а сурок — тварь, как известно, омерзительная и не пригодная ни на какое дело: ни в котел, ни на шапку. Только узбеки да урусы жрали сурчину, не умея различить ее от сладкого мяса улара*, исцеляющего от оспенной болезни. Но Гульмамад все же родился на свет таджиком и поднялся в Алтын-Киик из виноградного Гарма, так что ему было бы как раз впору охотиться за дикими козлами, пахнущими травами гор. Никому ведь и в голову не придет советовать ему, таджику Гульмамаду, стрелять волков или барсов. Но — сурки, зайцы... Смирный человек Гульмамад, виноградный.

Мосластый Телеген, напротив, человек буйного нрава, высокого роста и силы значительной. Буйство его происходит оттого, что лет десять назад, когда он был еще угловатым костлявым парнем, кобылка-трехлетка ударила его задней ногой в лоб и след оставила: шрам и буйство. В буйном настроении Телеген камни несдвигаемые бегом носил от скал к реке, в воду их сбрасывал и радовался... В Телегеновой кибитке темно, и дыма нет над трубой: навоевался за день и спит сном уставшего довольного человека.

А Каменкуль не спит, ждет Кудайназара; скачут отблески теплого сердцу огня в низком оконце, на вмазанном в глинобитную стену неровном стекле. Она привычно ждет мужа, терпеливо — как ждет утра в последний предрассветный час или сумерек в час предсумеречный. Она всегда, всю жизнь ждала его — так ей кажется в ее убеждении: когда он заплатил за нее калым скотом и деньгами и забрал ее от родителей, когда уходил на далекую или близкую охоту, когда уезжал в Кызыл-Су по своим делам, о которых ей никогда ничего не рассказывал.

На этот раз рассказал: в Кызыл-Су, на заставу, к урусам. И сегодня, в благодарность за сообщение, она ждала его особенно терпеливо, уверенная в том, что Кудайназар все делает как надо и что вернется он в ту самую минуту, когда сочтет нужным вернуться домой. Встреча с урусами тревожила ее. Сеча морковку для плова, она размышляла над тем, что не следовало бы Кудайназару ехать к урусскому начальнику, что лучше поехал бы туда буйный таскальщик камней Телеген или холостой Гульмамад. Хорошо размышлять, сеча морковку на гладкой деревянной доске.

Кудайназар вошел вслед за Кадамом, нашел глазами жену в

* Дикая горная индейка.

полутьме комнаты, втянул ноздрями запах плова и, швырнув в угол курджун с покупками, тихонько засмеялся. Приятно возвращаться домой, в Алтын-Киик, после долгого перехода по горам. Опустившись на вытертую кошму у камелька, Кудайназар блаженно вытянул ноги, и Каменкуль скользнула стянуть с него сапоги. Кадам жадно тянул кумыс, распутав кожаную веревку вокруг горла бурдюка.

— Хорошо... — сказал Кудайназар, глядя на сына над бурдюком. Неясно было, к кому он отнес это свое "хорошо" — к чмокающему на четвереньках Кадаму, к освобожденным ли наконец ногам, а Каменкуль угадала верно: к ней. Легко проводя ладонями по мужниным ногам, она снизу вверх взглянула Кудайназару в глаза и улыбнулась. Она была красива, Каменкуль, в свои двадцать два года — белолицая, с нежным подбородком, с крупными, розовыми, выпуклой лепки губами. Тело ее еще не успело износиться и одрябнуть, она была гибка и пряма, как только что срезанный прут. Она двигалась стремительно, но плавно, и маленькие ее груди прыгали под платьем, как глупые щенки на поводках.

— Ты видел уруса? — спросила Каменкуль, подкладывая набитую овечьей шерстью подушку под локоть мужа. — Он страшный?

— Видел, — кивнул головой Кудайназар. — Это странный урус.

— Как Телеген? — с надеждой спросила Каменкуль.

— Нет, — сказал Кудайназар и, подумав, добавил: — То есть не совсем. Телеген-то буйный, а этот — в себе, внутри все держит.

— Буйному-то легче! — искренне пожалела Каменкуль русского начальника Иуду Губельмана.

— Он приехать обещался, — недоуменно покачивая головой, сказал Кудайназар. Здесь, в алтын-киикской кибитке, у открытого огня, предстоящий визит русского начальника представлялся действительно нелепым. — Один, без солдат.

Дверь живенько отворилась. В проеме стоял старый Абдильда в барсовой шубе, накинутой поверх хорезмского халата легкого и плотного изумрудного шелка, расшитого птицами и единорогами. Такие хорошие халаты шили лет триста тому назад, а теперь бедовые люди вытягивают их из земли, вытряхивая из них звонкие кости покойников. Очень сухая земля на старом кладбище Хивы, за карагачевой рощей, и парадные похоронные халаты как были новыми, так новыми и остались.

— Салам алейкум! — сказал Абдильда с порога и шагнул в комнату. — Аллах да продлит, дорогой Кудайназар, дни твоих за-

мечательных странствий... — Подойдя к Кудайназару, Абдильда приблизил к его уху свое румяное лицо с серебряным перышком бороды и прошептал услышанную за дверью фразу: — Один, без солдат?

— Так он сказал, — кивнул Кудайназар. — Садись, Абдильда. Подавай плов, Каменкуль!

Не сняв шубы, Абдильда опустился на кошму у огня. На фоне дымчатого меха снежного барса старинный хивинский шелк пылал изумрудным пламенем.

— Аллах велик, и подарки его неоценимы, — сказал Абдильда, потирая короткие, сильные руки. — Он посылает нам урусского начальника без солдат... Я дам тебе мой карамультук, Кудайназар — он всегда бил без промаха.

— Нет, Абдильда, — сказал Кудайназар насмешливо, твердо. — Бери-ка вот плов.

— Но он же иноверец! — откровенно удивился Абдильда. — Наши законы гостеприимства для него не годятся. И потом не обязательно резать его здесь, в твоей кибитке.

— Соль, Каменкуль! — обернулся Кудайназар к жене, сидевшей в стороне от достархона. Кадам спал на мягкой киичьей шкуре в углу. — Я сказал тебе, аксакал: нет!

— Можно поручить это дело Телегену, — сказал Абдильда, задумчиво щурясь на огонь. — Он буйный человек.

— Нет, — подумав, повторил Кудайназар. — Если он приедет с солдатами, мы убьем их всех.

— Так он же приедет без солдат, ты говоришь! — пропустив бородку сквозь кулак, мягко поправил Абдильда. — Это куда спокойней и проще. Телеген, в крайнем случае, может зарубить его топором. Какой с него спрос, с Телегена! Не зря ведь Аллах обделил его разумом, наградив сверх меры костями и мясом.

— Пускай Телеген таскает свои камни, — сказал Кудайназар, аккуратно жуя плов. Он брал жирную еду тремя пальцами, трамбовал в щепоти пирамидку и подносил ко рту, не роняя ни зерна на одежду. — Сколько тебе лет, аксакал? Семьдесят? Восемьдесят?

— Семьдесят, восемьдесят... — не уточнил Абдильда. — Зачем мне забивать голову ненужными цифрами, когда Аллах ведет счет моим дням? Я хорошо умею считать, ты сам знаешь, Кудайназар, — но вмешиваться в дела Аллаха я не хочу.

— Ну, хорошо, — сказал Кудайназар. — Ты много, значит, ви-

дел в жизни. Неужели ты думаешь, что, если Телеген зарубит урусского начальника, с тебя не сдерут твой зеленый халат? Да нас всех вместе повесят на одном карагаче!

— Я уйду в Афганистан, — с достоинством сообщил Абдильда.

— Дорогу не забыл еще? — усмехнулся Кудайназар.

— Нет, — сказал Абдильда, степенно обгрызая баранью кость крепкими гранеными зубами. — Так, значит, ты боишься.

— Я не боюсь, аксакал, — тихо, расстановочно сказал Кудайназар. Сощутив глаза, он с бешенством глядел на старика из своих щелок. — Просто я не хочу уходить из Алтын-Киика в Афганистан. Я здесь живу, здесь останусь.

— Ты прав, Кудайназар, прав! — поспешно согласился Абдильда и то ли поежился, то ли пожал плечами. Барсова его шуба мягко соскользнула на кошму, но и в шелковом халате он казался таким же крепким и широким. — Они всех нас перебьют, все отнимут.

— Да не в этом дело! — почти прошипел Кудайназар. — Я не хочу убивать этого уруса!

— Да, — снова согласился Абдильда. — Ты рассуждаешь как настоящий мужчина и мудрый человек. Что с него взять, с начальника? Сапоги да шинель. Не станет же он тащить сюда золото, что отобрал у покойного Узбоя. А у него было не только золото, я-то уж знаю. Серебро, жемчуг, халаты... — перечислял Абдильда, аккуратно загибая жирные от плова пальцы. Он хорошо умел считать, Абдильда.

Кудайназар смеялся. Он смеялся почти беззвучно, откинув голову; его крупный тупой кадык ходил вверх-вниз, вверх-вниз по стволу смуглой шеи, как будто он с бульканьем пил воду.

Вытянув вперед руку с загнутыми в подсчете пальцами, Абдильда глядел на хозяина озабоченно.

— Не в том дело, — сказал Кудайназар, отсмеявшись. — Я его не трону, потому что он... ну, как бы это тебе объяснить... ну, понравился он мне!

— Понравился... — через силу развел в улыбке губы и Абдильда. — Как так?

— Станный он какой-то, — невразумительно объяснил Кудайназар.

— А... — сказал Абдильда и наклонил голову к шелковому плечу, раздумывая. Он с досадой раздумывал над тем, что и сам Кудайназар — странный человек: жена ему за пять лет только одного сына родила, а он другую не берет. И этот его смех...

За дверь кто-то предупредительно затопал, закашлялся.

— Это Гульмамад, — сказал Абдильда. — Я к нему заходил. Он тоже хочет послушать про урусского начальника.

За смирным Гульмамадом в дверь протиснулся Телеген. Телеген был подвижен, свеж. Русский начальник интересовал его лишь отчасти. Завидев в углу бурдюк с кумысом, он спросил у Каменкуль косу*, нацедил себе питья и пил редкими длинными глотками. О начальной цели своего вечернего прихода он, как видно, совсем позабыл. В его буйной голове умещалось что-либо одно: таскание камней, либо питье кумыса. Трудно одновременно пить кумыс и думать об урусском начальнике, да и ненужно это. Кумыс был очень хороший, в меру жирный.

Гульмамад же по смирности своей даже не сел на кошму, а опустился на корточки у двери, опершись спиной о косяк. От плова он отказался.

— Выпей-ка пиалку чая, дорогой Гульмамад, — покровительственно сказал Абдильда. — Чай греет кишки и оттягивает от головы дурную кровь... К нам в Алтын-Киик придет скоро в гости урусский начальник. Кудайназар пригласил его.

Услышав это сообщение, Кудайназар поморщился, как будто, жуя плов, разгрыз вдруг небольшой камешек.

— Кудайназар будет совещаться с урусом о важных делах, — не слыша возражений Кудайназара, продолжал Абдильда. — Покойный Узбой ни разу не приезжал к нам сюда из Кызыл-Су.

Покончив с кумысом, Телеген пересел поближе к плову.

— Ну да, ну да, — сказал Телеген, выуживая из медного блюда баранье ребрышко. — Я тоже так думаю... Надо подарить новому урусскому хану барсову шкуру. У тебя есть три, Абдильда, я сам видел, как ты сушил их на той неделе на солнышке. Урус обрадуется и не станет больше к нам сюда ездить.

— Никогда не следует спешить с подарками, — опасливо взглянув на жующего Кудайназара, сказал Абдильда. — Зачем урусу барсова шкура? И потом, получив один подарок, все остальное он захочет отобрать силой. А с нищего человека и взять нечего!

— Довольно! — вытерев рот тыльной стороной ладони, сказал Кудайназар. — Если урус придет, мы зарежем барана, а понравится ему барсова шкура — подарим шкуру. Он не станет моим бра-

*Суповая пиала.

том, ни твоим, Абдильда, потому что, вы сами увидите, он другой человек и мы с ним за одним достархоном* больше одного бешбармака** не высилим. Но пока он сидит себе со своими урусами в Кызыл-Су, мы не будем с ним воевать и не будем ему делать зла.

— Золотые слова, золотые слова! — пробормотал Абдильда, выплескивая чайные опивки из пиалки в угол. — Но урус режет наших братьев в долине, и Аллах всех нас покарает за это.

— Я не хан, я охотник, — помолчав, сказал Кудайназар. — Алтын-Киик — моя родина, и никаких братьев у меня нет. Бездельники и трусы, которые убежали со своих мест и болтаются теперь в долине, — мне не братья. И их я тоже не пущу в Алтын-Киик, нечего им здесь делать. Если бы они хорошо воевали за свои кибитки, урусы не дошли бы до Кызыл-Су... А тебе, Абдильда, нечего бояться: в Афганистане тебя сам Аллах не найдет.

— Аллах, если захочет, найдет тебя даже на дне моря, — со знанием дела возразил Абдильда. — Нет такой пещеры...

— Откуда ты знаешь, старик, — криком прервал его Кудайназар, — чего хочет и чего не хочет Аллах? Ты что — служишь толмачом у Аллаха? Ты сам говоришь, что не считаешь своих лет, потому что это — Его дело. Что ж ты тогда лезешь в Его дела, как будто каждый день пьешь с ним кумыс из одной пиалы!

— Я умею читать, — попытался защититься Абдильда. — В священном Коране...

— Умею читать! — с издевкой повторил Кудайназар. — Ты прямо как этот урусский Иуда! Тот тоже твердил все время: читать, читать... А кто сказал тебе, что ты со своим чтением понимаешь больше, чем Гульмамад?

— Что ты, Кудайназар! — выдавил из себя смиренный Гульмамад. — Абдильда больше понимает...

— Вот видишь... — поощрительно взглянув на Гульмамада, сказал Абдильда.

— Если надеть на Гульмамада твой шелковый халат, — мрачно усмехнулся Кудайназар, — он сразу по-другому заговорит. И еще отдать ему твои золотые монеты, чтоб он побыстрее научился считать, как кзыл-суйский лавочник.

— Каждый делает свое дело, — не сдался Абдильда. — Я умею

* Скатерть, расстилаемая на полу.

** Киргизское национальное мясное блюдо.

считать, а Гульмамад умеет ловить сурков. Так заведено, и так должно быть.

— Откуда ты знаешь, старик, как должно быть? — не повышая голоса, спросил Кудайназар и взглянул на Абдильду из своих щелок, как будто полоснул двумя осколками битого черного стекла — хоть утирай кровь с лица рукавом халата.

— Плов очень хороший, — одобрил Телеген, вежливо вытирая пальцы о голенища сапог, а потом — насухо — о волосы.

6

Иуда Губельман отнюдь не был так уверен в своем всезнании и своей правоте, как думал о том Кудайназар. Давно миновала та счастливая, та кровавая пора, когда Иуда видел мир двухцветным: красным и белым. То, что не представлялось ему красным — было, следовательно, белым и подлежало скорейшему истреблению и искоренению ради красного торжества. Никакого зазора не существовало для него между этими двумя цветами жизни и мира — ни синего, ни розового, ни даже черного. Белое — оно и было черным, и это все получалось упоительно просто и легко.

Те времена ушли, и исчезли люди тех времен. Получив назначение на Памир — на войну с басмачами, Иуда Губельман надеялся найти там вчерашний день, солнечно-красный. Но старая кавалерийская фуражка не стала для него пропуском в прошлое. Сидя за своим командирским столом на кзыл-суйской заставе, Иуда тосковал по былому голоду и боли, по многосуточным бессонным рейдам, по вшам фронтовых лазаретов. Вот ведь как обернулась погоня за всеобщим счастьем: не устройством нового мира, а устройством новых теплых мест в этом мире. Глядя через окно на долину и острые вершины хребта, командир думал о том, что его молодые солдаты воюют здесь не за счастье для местных людей, а за стратегическую дорогу на Юг, и что война эта несколько не похожа на его, Иудину, очистительную родную войну. Они вернутся по домам, в свои русские деревни и украинские села, эти солдаты с девственной совестью, они вернутся и никогда не вспомнят о горной долине, которую они ненавидят, и о нищих узкоглазых пастухах и охотниках, которых они презирают. А ему, Иуде, некуда возвращаться: что осталось в Харькове или Воронеже от тех, двухцветных времен? Одна рамка...

К Кудайназару Иуда поехал назавтра после того, как получил от Ошского начальства приказ обследовать долину ледникового языка: ходят ли басмачи по леднику, не ушел ли в Афганистан по тайным ледяным тропам мятежный хан Усылбек со своими людьми, вырезавшими погранзаставу на озере Каракуль. Командир выехал без эскорта, один, сразу после рассвета. Под ним шел враскачку мелкий коротконогий жеребчик местной породы, выносливый в переходах по горам. В переметной суме, низко свешивавшейся с плоского кавалерийского седла, помещалось немного: тройка лепешек, кус жирной вареной баранины в тряпице, бутылка спирта и кулечек сахара для Кудайназарова сына. Карabin Иуда сунул стволом под седельное крыло — так, чтоб был под рукой.

Дорога укачивала, убаюкивала. К Большому камню Иуда подъехал вскоре после полудня; солнце уже перевалило зенит, короткая тень от камня косо падала на горный склон. Иуда проследил направление тени, потом его взгляд скользнул вниз по склону и уперся в глубокое дно ущелья, в зеленоватый поток реки и темные камни потока; ему вдруг сделалось зябко. Он тронул жеребчика камчой, проехал под камнем не останавливаясь. Чисто выметенная сквозным ветром площадка не задержала его внимания: он не имел склонности останавливаться в дороге для отдыха, разве что по крайней необходимости.

На перевале Терсагар Иуда придержал своего бодро топающего конька. Здесь, на высоте, трудно было дышать, и ветер тащил с вершин острую снежную крупу. Казалось, что отсюда, с этой вымерзшей каменной доски, тесно прижатой к тяжелому, беспросветному и тоже как бы струганному грубым рубанком небу, берет начало мир — с его розовыми садами там, внизу, с теплыми реками, с серебряными рыбами в этих реках и людьми в прибрежных деревеньках. Сладко было думать, стоя под рвущимся с цепи, гремящим ветром о тепле и тесноте киргизских кибиток Алтын-Киика. Вот они, рядом, в часе спуска, тесные и теплые, — и ничто не мешает отпустить повод, чтоб жеребчик освобожденно зашлепал копытками по мягкой земле тропы, ведущей вниз, в мир. Только отпустить повод — и спуститься, и войти в низкую дверь жилища на речном берегу. Неужели это возможно — только повод отпустить, — и остаться, не погибнуть вместе с конем на крутом пути к теплой и тесной жизни!

Сладко и страшно думать об этом, стоя на гремящем ветру, на перевале Терсагар.

Иуда отпустил повод, послал жеребчика шагом к каменной кромке перевала.

Зеленое пятнышко на коричневом камне, между отвесной километровой скалой и широчайшей речной долиной — вот, оказывается, как выглядит Алтын-Киик... Зеленый пушистый лоскуток — травяное поле, арчатник, карагачевая роща. А за рощей темная полая вода, спрыгивая с ледника, выгрызла в камне выстланный галечником проход, уводящий вниз, в виноградные таджикские края. Полая вода темная, бешеная: как напряженная мышца, обтянутая серой подрагивающей кожей.

Паводок давно миновал, вода спала, источавшая река со всеми ее протоками похожа с утра на ветку, брошенную на мостовую. А к вечеру, после дня солнечной работы, ледник лениво выплюнет в долину талую воду, — и река вздуется, округлится, с грохотом потащит по дну камня размером с барана, с пол-лошади.

К этому глухому, как бы подземному грохоту прислушивался Иуда Губельман, въезжая в Алтын-Киик. Пяток кибиток, разбросанных между арчатником и рощей, увидел Иуда, и жеребчик по собственной воле бодро притопал к ближнему домишке. Большая желтая собака выскочила неизвестно откуда, как бы из-под земли, и с азартным лаем стала на скакивать на лошадь сбоку, вытягивая лобастую голову на толстой шее и норовя вцепиться в ногу всадника. Иуда живо выдернул наган из кобуры и, держа его за ствол, перегнувшись с седла, с полного замаха ударил собаку тяжелой рукоятью по лбу. Собака осеклась и, шатаясь, словно бы в раздумье, поплелась в кусты и легла там. А Иуда спешился и пошел на затекших ногах навстречу Абдильде, выглянувшему на лай.

— Здравствуй, белобородый, — взглядываясь в румяное лицо Абдильды, сказал Иуда. — Я ищу Кудайназара, охотника. Где он живет?

— Всемогущий Аллах никогда не ошибается! — в большом потрясении пробормотал Абдильда. — Он привел урусского начальника в мою кибитку... Спасибо тебе, посланец Аллаха, что ты укоротил дни этой опасной твари. — И Абдильда смачно плюнул в собаку, выползшую из куста и трясущую окровавленной башкой у хозяйской ноги.

— Это твоя, что ли, собака? — спросил Губельман. — Она хотела меня укусить.

— Жалко, что ты не вышиб ей все зубы, — сказал Абдильда и взглянул на собаку с сожалением. — Кусаться я тоже умею, а лаяла она громче всех в Алтын-Киике. Теперь она будет петь, как манасчи*, если не подохнет до утра.

— Пускай поет, — дал свое согласие Губельман. — Кудайназар где живет?

— Сейчас я поведу тебя к нему, — сказал Абдильда. — Но сначала выпей пиалку чая в моем доме. Это такой наш киргизский обычай...

— Хорошо, — решил Иуда. — Если уж Аллах меня, как ты говоришь, привел...

В просторной комнате кибитки, у очага, сидели две женщины — большая старуха и вторая, помоложе, лет сорока или около того, с плоским рябым лицом под туго повязанной на голове косынкой. На кошке спал, накрывшись овчиной, мужчина в куньей шапке. Открытый огонь очага освещал сепаратор на сундуке у стены и пару мелких каменных жерновов в углу — то ли мельничку, то ли крупорушку. Целая система палок и ремней вела от жерновов под стену; там, в черной дыре, приятно журчала проточная вода.

Повелительным взмахом руки Абдильда отослал домочадцев из комнаты. Первым, молча вылезши из-под овчины, шагнул за дверь мужчина в куньей шапке — он, лежа на кошке, словно бы только и дожидался этого хозяйского знака.

— Сын, что ли? — спросил Иуда, ища, где бы сесть.

— Э! — неопределенно пожал плечами Абдильда. — Приходят разные люди, спят, чай пьют... У меня стул есть, сейчас из сарая принесу.

— Не надо, — сказал Иуда, опускаясь на кошму и с наслаждением вытягивая ноги. — Люди-то — местные?

— Местные люди, — подтвердил Абдильда. — Этот парень за картошкой приехал из Таджикистана. Картошка у нас здесь очень хорошая. Неделя уже, как приехал, спит у меня. — Сидя на корточках, Абдильда заваривал чай в круглом красном чайнике, надтреснутом с одного бока и скрепленном по трещине металлическими скобками.

* Исполнитель киргизских народных песен о богатыре Манасе.

— Важное дело есть, начальник, — протягивая Иуде пиалку, сказал Абдильда и добавил шепотом: — Продай мне пулемет!

— Зачем? — ничуть не удивился просьбе Иуда.

— Ну, как зачем! — доброжелательно удивился Абдильда. — Ты — большой начальник, а я буду твоим секретарем здесь, в Алтын-Киике. Сек-ретарь! — немного нараспев повторил Абдильда интересное слово. — Секретарю такого большого начальника без пулемета нельзя.

Потягивая чай, Иуда молчал, как бы вовсе забыв об Абдильде.

— Я дам тебе за пулемет три шелковых халата и барсову шкуру, — вкрадчиво предложил Абдильда. Иуда молчал. — Две барсовы шкуры, — накинул Абдильда. — И китайский перстень — золотой дракон с красным камнем в зубах. А?

— Что ты будешь делать с пулеметом? — спросил наконец Иуда.

— Я пойду на старую китайскую дорогу, — сказал Абдильда, — и буду брать с каждого плату за проход. А в Алтын-Киике оставлю пока что своего секретаря Телегена.

— Ну, ладно, — усмехнулся Иуда и поглядел на Абдильду с новым интересом. — Попили чайку — и хватит... Неужели ты думаешь, старик, что никто без тебя не сторожит старую китайскую дорогу? — Он поднялся с кошмы. — Спасибо за чай. Пошли.

— Значит, сторожат уже... — смирился Абдильда. — Знаешь, начальник, не говори ничего Кудайназару про пулемет. И про китайский перстень тоже не рассказывай. А, начальник?

— А — почему? — уже от двери спросил Иуда.

— Он-то думает, что пулемет полагается ему, — покачивая белым перышком бороды, объяснил Абдильда. — А у кого пулемет, у того должен быть и перстень с драконом. Так всегда бывает.

— Так он что, отнимет у тебя, что ли, твое добро? — задержался Иуда.

— Зачем отнимет! — вздохнул Абдильда. — Самому придется нести, не приведи Аллах.

К делу перешли за мясом.

— Мясо делает живот твердым, а сердце мягким, — сказал Телеген, круша зубами баранью кость. — Жирный человек — хороший человек. Тощий человек — нехороший человек.

Крупные куски вареного бараньего мяса дымились в голубом эмалированном тазу. Таз возвышался посреди достархона, мужчи-

ны располагались вокруг таза. По достархону были рассыпаны лепешки и мелкие луковицы и стояли три пиалки: спирт пил Иуда, бывалый Абдильда и Гульмамад — человек виноградный.

Хрустя луком, Абдильда досадливо поморщился: тощий Иуда мог неправильно понять Телегена.

— Ты очень смелый человек, начальник, — сказал Абдильда, чтобы исправить положение. — Никогда еще такого не было, чтобы урусский начальник приехал в горный кишлак без конвоя.

— Я ж не воевать приехал, — мельком заметил Иуда и оборотился к Кудайназару: — Хан Усылбек проходил через Алтын-Киик?

— За последний год здесь не было ни одного чужого, — помолчав, сказал Кудайназар. — Я не пущу в Алтын-Киик никаких солдат. Это наша земля, и мы пустим сюда только званых.

— Золотые слова, — одобрил Абдильда. — Рубиновые!

— Усылбек и спрашивать бы не стал, — покривил губы Иуда. — У него пятьдесят всадников. Что ж, он приглашения от тебя будет дожидаться, что ли?

— Этого не знаю, — сухо сказал Кудайназар. — А придет — что ж: либо он тогда будет здесь сидеть, либо я.

— Чего ему тут сидеть! — побалтывая спирт в пиалке, сказал Иуда. — Он на ледник уйдет, а потом — в Афганистан.

— Не знаю, — повторил Кудайназар. — Только по леднику никто на лошадях не пройдет — яки нужны. Яков у нас нет. Зачем же ему тогда Алтын-Киик?

Абдильда горестно вздохнул, грудь его и плечи поднялись, а потом опустились. Яков, правда, нет в Алтын-Киике, зато есть кое-что подороже яков: желтенькие тяжелые кружочки, запрятанные в один из мельничных жерновов. Если проникательный человек будет их хорошо искать в доме Абдильды, то и найдет непременно. А отчего бы хану Усылбеку не быть проникательным человеком?

— Давайте говорить прямо, — сказал Иуда, с силой проводя ладонями по лицу, сверху вниз. После утомительной дороги хмель ударил ему в голову, и он запоздало пожалел теперь, что выпил. — Пока басмачи не пользуются вашим кишлаком как перевалочной базой — ну, скажем так: не ходят через Алтын-Киик — у советской власти к вам никаких претензий не будет, и я моих людей сюда не пошлю. Появятся басмачи — приду и я. Другого выхода нет.

— Что это — советская власть? — тихонько спросил Гульмамад. — Новый русский царь? Мы тут слышали, а точно не знаем...

— Царя больше нет. Советская власть — власть народа. Вы, я — это и есть власть, — Иуда вдруг осекся, словно поперхнулся, потом безнадежно как-то, устало махнул рукой и, спрокинув в рот остатки спирта из пиалы, потянулся к тазу за мясом.

Мужчины выжидательно молчали, глядя на жующего гостя. Молчал и Иуда.

— Значит, мы — власть, — подождав, пока Иуда проглотит, сладким голосом сказал Абдильда. — Интересно...

— Нам не надо, — вдруг насупился, набычился Телеген.

— Почему? — спросил Иуда, и уточнил: — Не надо — почему?

— Каждый свое дело делает, — неохотно разъяснил Телеген, — что ему нравится.

— Телеген камни таскает, — усмехнулся Абдильда, взглядывая на Иуду.

— Ну да, — подтвердил Телеген, — ну да. Если я — власть, и Абдильда — власть, и Кудайназар с Гульмамадом — тоже власть, то почему ж тогда ты — начальник?

— Ай, Телеген! — закинув голову, засмеялся Кудайназар. — Молодец, Телеген!

— Ну, ладно, — улыбнулся и Иуда. — Это все не так просто, это в двух словах не объяснишь... Важно, в конце концов, как при какой власти люди живут.

— Вот это обязательно, — с подъемом согласился Абдильда. — Вот это ты точно сказал. А царь или не царь — это нам все равно.

Иуда холодно и зорко поглядел на Абдильду, покачал головой, но спорить не стал.

— Я по-другому объясню, — сказал Иуда, — чтоб понятней было... Вот у тебя, Кудайназар, сколько детей?

— Один у него, — неодобрительно сообщил чадолюбивый Телеген.

— Иди сюда, Кадам! — позвал Кудайназар.

Мальчик, тихо сидевший у стены, подошел к отцу, сел рядом, чуть позади.

— Ну вот, — продолжал Иуда. — Один только. А советская власть детский сад тут построит, и врача пришлет — детишек лечить. И будет у тебя еще хоть десять сыновей.

— Советская власть, что ли, детей ему будет рожать? — хмыкнул Телеген.

— Вот это очень правильно! — одобрил Абдильда. — Это настоящая власть. Десять сыновей! А вторую жену можно купить в Гарме, там девушек много, за два десятка баранов можно купить.

— Пстой, пстой! — остановил Кудайназар. — Человек все же не баран. Овца пустая не ходит...

— Человек — баран Аллаха, — наставительно поправил Абдильда. — Аллах пасет нас на пастбище Земли. Овца Аллаха не должна ходить порожней.

— Урусский начальник — тоже баран, что ли? — простодушно пошутил Телеген.

— Это не твое дело! — поспешно пресек Телегена Абдильда. — Аллах не всех людей сотворил баранчиками. Ты, например, больше похож на ишака.

— Ну да, — радостно согласился Телеген. — Ну да... У меня детей вон уже сколько.

— Детей плодить всякий дурак может, — досадливо поморщился Кудайназар. — А мы ведь у детей не спрашиваем — хотят они на свет или не хотят. Нам приятно с детьми, как со щенками, играть — вот и плодим, и еще хвастаемся: у меня десять, а у меня уже пятнадцать! А — зачем?

— Как зачем? — не выдержал смирный Гульмамад. — Как это зачем, дорогой Кудайназар? А продолжение рода! Твои дети — это ты сам, только разрезанный на кусочки. Бог создал женщину, чтобы она рожала нам детей. Без этого она даже не женщина, а просто кусок горячего мяса.

— Сначала она кусок горячего мяса, и это очень хорошо и приятно, — внес ясность Телеген. — А потом у нее растет брюхо, и она тогда становится женщиной. Это тоже хорошо.

— Продолжение рода! — усмехнулся Кудайназар. — Какого это такого рода? У меня есть род или у тебя, Гульмамад? Ты — сам по себе, а другой человек, хоть он тебе и сын, — тоже сам по себе. А внуки и дети внуков — те о тебе, может, даже ничего и не слышали. Род! Вон у Абдильды детей, может, штук двадцать — а где они, куда пошли? Он и сам не знает.

— Один живет в Гульче, — мягко поправил Абдильда. — Он, говорят, взял в жены узбечку.

— Если меня завтра застрелит урусский Иуда, как Керима, а Кадам с Каменкуль пропадут, — с горечью продолжал Кудай-

назар, — что от этого в мире изменится? Трава не будет расти? Ледник растает?

— Если у тебя будет много детей, они за тебя отомстят, — сказал Абдильда и с опаской покосился на Иуду, слушавшего внимательно.

— Ну, и дальше что? — сказал Кудайназар. — Да и не надо мне, чтоб за меня мстили, если меня зарежут, как барана над тазиком. Я сам за себя хочу стоять и сам себе хочу смерть выбрать... А за тебя, Абдильда, твой сын из Гульчи, что ли, мстить придет?

— Не придет он, — решил Телеген. — Оттуда езды, считай, четыре дня.

— А у тебя сколько детей, начальник? — любопытствовал смирный Гульмамад. — Один, два? Много?

— Нет у меня детей, — сказал Иуда. — Не успел еще. И жены нет.

— Урусы больше одной жены не покупают, — со знанием дела сказал Абдильда. — Урусы в городах живут, у них баранов мало, а одна картошка. Вторую жену трудно прокормить. Верно говорю, начальник?

— Да я не русский, я — еврей, — сказал Иуда и удивился — зачем он им это сказал.

— А, — вежливо откликнулся на эту новость Абдильда.

Он что-то слышал в своей жизни о евреях, но сейчас не мог припомнить, что именно. На прочих Иудино сообщение никак не подействовало; они смирно сидели, переваривая жирную пищу.

Иуда оглядел каждого из них в отдельности даже с некоторым вызовом: он не привык к тому, чтобы люди вообще никак не реагировали на то, что один среди них — еврей. Одни в таком случае радуются неизвестно чему — “Да что вы говорите?! Вот это-то здорово!” — как будто еврейский человек свалился в их круг прямо с луны, где он питался камнями и размножался делением, — но таких меньшинство. Другие делают вид, что ничего, в сущности, не произошло — ну, еврей, так и еврей, случается такое, а бывает и хуже, правда нечасто. А есть еще и третьи — те смотрят на тебя с вызовом, с волчьей злобой — как будто бы ты виноват в том, что дети у них неудачные, и жены им изменяют, и еще что-то не клеится в их жизни. Есть и четвертые, и шестые... Но здесь, в алтын-киикской кибитке, люди довольно переваривали пищу, словно бы еврейское происхождение Иуды Губельмана, русского начальника, их вовсе не касалось.

— Я — еврей! — упрямо продолжал Иуда. — И имя у меня не русское. Вы вообще-то знаете, кто такой был Иуда?

Они не знали. Даже бывалый Абдильда ничего не мог вспомнить.

— Ну, не важно, — решил Иуда и нахмурился озабоченно. — Я давным-давно мог бы стать Иваном или там Петром, и это было бы для меня проще, и никто бы в меня пальцем тогда не тыкал. А я не хочу имя менять, потому что мне все равно, кто ты такой — еврей, русский или киргиз. Евреи думают, что они лучше, русские — что они. Никто не лучше! Из-за этого "лучше" целые народы друг другу голову рубят.

— Лучше еврей, чем урус, — доверительно оценил положение Абдильда. — Урусский человек очень сердитый, с нами разговаривать не хочет.

— Не потому не хочет, что он русский, — не согласился Иуда, — а потому, что глупый, темный. Среди евреев дураков не меньше, чем среди русских.

— Ну, если кто дурак, то конечно... — не стал упорствовать Абдильда.

— Вот ты говоришь, десять сыновей, — повернул разговор Кудайназар. Эта тема интересовала его куда больше, да и его гостей тоже. Задремавший было Телеген встрепенулся и открыл глаза. — А чем десять лучше одного — вот что я понять хочу! А что Телеген настругал дюжину или уважаемый Абдильда — это еще не значит, что так надо каждому человеку делать.

— Даже курица — и та яйца несет, — наставительно заметил Телеген. — А человек удовольствие имеет... Та курица считается хорошая, которая больше несет яиц. Так же и овца, и баба, это все знают.

— Ягнят мы режем и едим, — сказал Кудайназар ровным голосом. — А дети наши вырастают и режут друг друга не ради котла. Это тоже все знают. Значит, так и должно быть?

— Так получается, — огорченно сказал смирный Гульмамад. — Никто в этом не виноват.

— Вот-вот-вот, — круто вошел в разговор Иуда. — Каждый об этом думает, каждый человек... Ты говоришь, никто не виноват. Нет, виноваты! Была бы всеобщая справедливость на земле — никто бы друг друга резать не стал, ну, может, только сумасшедший или больной какой-нибудь. Мы для этого воевали в России, чтоб установить справедливость.

— Установили уже? — недоверчиво прищурился Абдильда.

— Еще нет, — сказал правду Иуда. — Может, еще лет десять для этого понадобится. Люди привыкли жить неправильно, трудно отвыкать.

— Ну да, верно, — постановил Телеген. — Если кто привык чего делать или есть, потом ему меняться противно... Я только вот чего боюсь, начальник: мы тут правильно живем, в горах — так что ж ты сюда пришел менять?

— Самое главное, чтоб все было у всех поровну, — твердо сказал Иуда. — Чтоб не было такого: один — богач, у него хлеб на три года вперед, а у бедняка горбушки нет на обед.

— А как со скотом, с одеждой? — поинтересовался Абдильда.

— Тоже поровну, — объяснил Иуда. — У вас ничего нет, вам делить легко.

— Вон у Абдильды сепаратор есть, — сообщил Телеген. — Как его разделишь, когда он один?

— А чего его делить? — сказал Иуда. — Каждый, кому надо, приходит и пользуется, вот и все.

— Хорошо бы, — вздохнув, одобрил Кудайназар. — Только ничего из этого не выйдет, начальник. Не так люди сделаны, люди друг на друга только в плохом похожи. А в хорошем — каждый свою собственную тропинку ищет, и за эту тропинку соседу горло по всем правилам перегрызет.

— Ничего не получится, — повторил Кудайназар утром, провожая Иуду в обратный путь. — А правда — жалко.

Они договорились на том, что кто-нибудь из людей Алтын-Киика будет дежурить на перевале — не появятся ли чужие люди на тропе, ведущей к кишлаку. Иуда хотел было настоять на том, что — не появятся ли басмачи, но Кудайназар крепко стоял на своем.

Так и осталось в устном договоре: "чужие люди", не важно кто — киргизы, узбеки или русские.

Гульмамаду караульная служба пришлась по вкусу: он перед перевалом петельные силки ставил и ловил сурков. Кроме того, Гульмамад был человеком мечтательным и на самом деле любил одиночество. Сидя в палатке, завернувшись в овчинную шубу,

он часами пел песни, составленные из случайных приятных слов: перевал, сурок, Гульмамад, небо и земля. Пел он то чуть слышно, то во весь голос; пение это получалось у него печальным, но вовсе не безысходным. Гульмамад не смог бы вот так петь в своей алтын-киикской кибитке, среди людей — и поэтому уединенное сидение на перевале было ему еще милей: он чувствовал в себе прснувшуюся творческую силу и приятно волновался.

Драная Гульмамадова палатка поставлена была таким образом, что, даже не вылезая из нее, можно было просматривать спускающиеся к Кзыл-Су борта ущелья до самого поворота, далеко за Большим камнем. Сам камень казался отсюда коричневым кубом, аккуратно приклеенным ребром к желто-зеленому склону. Шнурок тропы скорее угадывался, чем был виден, но, поднося к глазам полученный от Кудайназара бинокль, Гульмамад различал камни, поставленные торчком по краю тропы, на ее извилах, и отграничивавшие однорядную проезжую часть от пропасти.

Глядеть в бинокль было интересно, и Гульмамад заглядывал в него часто, иногда даже не прерывая пения. Тропа, как и следовало ей, была совершенно пуста. Это не то чтобы огорчало Гульмамада, нет; но ему все же хотелось, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь верховой появился, наконец, из-за поворота. Почти не веря в такое появление, он, тем не менее, вглядывался до ломоты в глазах и, откладывая бинокль, испытывал легкое и краткое разочарование.

Когда всадники появились, он первым делом испугался: их было пятеро, они ехали цепочкой, над их плечами торчали, как черные прутики, винтовочные стволы. Поспешно выбравшись из палатки, Гульмамад вскочил на своего мерина и поскакал к кромке перевала — туда, где были сложены в кучи смолистые ветви арчи. Побрызгав керосином, он зажег пять костров; ударил густой сизый дым, пронизанный рыжими стрелами пламени. Недолго потоптавшись у огня, Гульмамад вернулся к своей палатке. Всадники ехали не спеша, казалось, что они почти не приблизились. Покрутив настройку бинокля, Гульмамад снова их пересчитал: да, пятеро.

Теперь оставалось только ждать — тех пятерых и Кудайназара.

Кудайназар прискакал с Абдильдой и Телегеном. Спрыгнув с седла, он рванул из рук Гульмамада бинокль: те пятеро прошли уже полдороги от поворота ущелья к Большому камню. Отсюда, с перевала, тропа спускалась по травянистой долине — по ней

можно было гнать лошадей галопом — и только километрах в трех от Большого камня, повисая над пропастью, сужалась до ладонной ширины. Тем пятерым не то что о галопе — о рыси невозможно было мечтать: их рослые кавалерийские кони, прижимая уши от страха, косили глазом в обрыв и еле переступали ногами.

— Давай так, — уже вдев ногу в стремя, сказал Кудайназар: — Ты, Гульмамад, езжай вниз и веди женщин и детей в пещеру Каинды. Сиди там до вечера. Если мы к ночи за тобой не придем — уходи в Таджикистан. Ну, давай!

Поднявшись в седло, Кудайназар цокнул языком, и его иноходец рывком взял с места. За ним поскакал Абдильда на длиннохвостом сивом мерине; порожние курджуны, свешиваясь, хлопали коня по бокам. Телеген ехал последним. Его коротконогая, резвая кобылка нервничала и скалила зубы, чуя тяжелого Кудайназарова жеребца.

К Большому камню подъехали шагом, оглаживая припотевших, разгоряченных коней. На затененной площадке было просторно, прохладно. Вот здесь отдыхал Кудайназар с Кадамом, возвращаясь с заставы домой. Что-то такое тогда случилось хорошее в ущелье: киики прошли или улары пролетели... Ну, не важно.

— Привяжи! — бросив повод Телегену, Кудайназар бегом обогнул Большой камень и поднялся в скальную расселину — тесную, с почти ровным дном, защищенную от тропы естественным каменным бруствером.

Абдильда, пыхтя, поспевал за Кудайназаром в своих кожаных калошах.

Бинокль был уже ни к чему: те пятеро ехали в пяти сотнях метров.

— Нагнись! — прошептал Кудайназар, и Абдильда послушно опустился на землю.

Куда спокойней было бы ему сидеть в пещере Каинды вместо Гульмамада! В конце концов, какой он ни смирный, этот Гульмамад — но не женщиной же Аллах произвел его на свет. Он молодой, он может научиться резать и стрелять не хуже всякого другого. Но, Абдильда, уже отстрелялся в своей жизни, и не время ему лазать теперь по скалам, как барсу, и подставлять старую голову под пули.

Кудайназар, стоя на коленях, прилаживал свой карабин на каменном бруствере.

— Возьми карамультук и иди сюда! — приказал он, не оборачиваясь.

— Я твой секретарь, дорогой Кудайназар, а Телеген — мой секретарь, — не подымаясь с земли, жарко зашептал Абдильда. — Разреши мне позвать Телегена — что он торчит там с лошадьми! Телеген — в пещере, Гульмамад — в пещере, а я должен за них стрелять из карамультука. Я обязательно промахнусь, дорогой Кудайназар, и испорчу все дело...

В тылу расселины посыпались мелкие камни — это Телеген карабкался по склону.

— Возьми карамультук, Телеген, — сказал Кудайназар и плюнул с яростью. — А ты иди к лошадям, старый курдюк!

— Серебряные слова! — прошипел Абдильда. — Рубиновые!

— Слушай! — коснувшись головой головы Телегена, сказал Кудайназар. — Когда я скажу — стреляй в переднего, это просто. А я — в последнего. Понял? Не целься пока, а то глаза устанут.

Пятеро ехали молча, не переговаривались. Если бы они могли, они бы тоже прижимали уши, как их лошади. Головной всадник, одетый в длиннополую красноармейскую шинель, метров на двадцать оторвался от своих людей, ехавших тесно.

Когда до Большого камня осталось ему с полсотни метров, Кудайназар, не подымая головы, закричал:

— Эй, вы! Поворачивайте назад!

Головной остановился и подождал отвечать, пока четверо других к нему не подтянулись.

— Ты кто такой? — высоким голосом спросил головной и, не услышав ответа, добавил: — Мы на охоту едем.

— Поворачивай! — повторил Кудайназар.

— Ладно врать-то! — вертя головой, направляющий глядел вверх Большого камня, выглядывал, откуда идет голос. — Ишь, басмач какой... — Но стоял на месте, не приближался со своими.

Потом они переговорили о чем-то — быстро, коротко.

— Слышь, ты! — нащупав уже глазами расселину, позвал головной. — А ну, выходи, тебе говорят! По-хорошему выходи!

Кудайназар молчал.

Тогда головной тронул лошадь, и сразу вслед за тем из-за его спины стукнул выстрел — стрелял второй в цепочке, сдернув с плеча винтовку.

Пуля ударила в каменный бруствер и рикошетировала с визгом.

Вжав голову в плечи, Телеген шумно дышал, пропуская воздух сквозь зубы. Скосив глаза от прицела, Кудайназар мельком взглянул на него: так дышал Телеген обычно перед приступом буйства.

— Давай! — разрешил Кудайназар, когда лошадь головного, поднятая на дыбы, опустилась на передние ноги. Винтовка была уже в руках у всадника, он как раз подымал ее к плечу.

Басовито рыкнул карамультук, перекрыв сухой стук Кудайназарова карабина. Головной уронил винтовку на тропу и, раскинув руки, упал лицом на гриву своего коня. В несколько прыжков напуганный конь достиг Большого камня, входа на площадку; и его не стало видно из расселины.

Замыкающий мешком сполз с седла и лежал теперь на тропе, свесив ноги в обрыв. Его конь стоял над ним, обнюхивая его и тычась губами в затылок упавшего.

Трое срединных всадников, запертых между Большим камнем и убитым замыкающим, топтались на месте, стараясь развернуть коней на узкой тропе.

Еще раз грохотнул карамультук Телегена, и ближняя к расселине лошадь, взвившись свечой, ушла в пропасть вместе с седоком.

Дальний из двух уцелевших соскользнул с седла, метнулся к лошади замыкающего, прилипшей мордой к своему мертвому хозяину, развернул ее, вспрыгнул и погнал.

Кобыла второго нервничала и грызла мундштук, прислушиваясь к ржанию Кудайназарова жеребца. Бросив повод, второй по-кошачьи перескочил на спину лошади своего усакавшего товарища, вздернул ее на дыбы, повернул на задних ногах и, полосуя по ушам камчой, заставил ее перепрыгнуть через мертвеца и взять галопом с места.

А нервная кобыла, вытянув шею, потрусила к Большому камню, к Кудайназарову жеребцу.

— Все, — сказал Кудайназар, подымаясь с колен. — Пошли вниз. Эй, Телеген!

Телеген, привалаясь лбом к камням бруствера, хрипел и клацал зубами.

Сняв шинель и сапоги с головного красноармейца, доставленного на площадку его собственной лошадью, Абдильда сдирал теперь с него суконные штаны с малиновыми лампасами. Сди-

рать было нелегко — тяжелый красноармеец болтался в руках Абдильды, как гигантская кукла, набитая сырым песком.

Трудно дыша, Абдильда перевернул тело на спину для облегчения работы — и услышал стон над серой лепешкой лица перевернутого. Наклонившись, Абдильда озабоченно наставил ухо: человек дышал.

Тогда, обойдя лежащего, Абдильда присел на корточки за его головой и, приподняв тело за плечи, уложил голову в потных соломенных волосах себе на колено — шеей на колено, как на бревно. Голова свесилась вниз меж разведенными коленями Абдильды, и открылась выгнутая шея.

Вытянув из-за поясного платка широкий нож темной узорчатой стали, Абдильда с усилием воткнул клинок сбоку от подъяремной впадины и, кряхтя и вздыхая, обстоятельно вскрыл красноармейцу горло. Он не задел большую боковую жилу и не запачкался.

Уже подымаясь, Абдильда заметил тихо вошедшего Кудайназара. Кудайназар стоял, вглядывался в запрокинутое над черной щелью лицо с прилипшими ко лбу волосами — лицо Ивана Бабенко, близнеца Николая.

Наглядевшись, он обернулся к старику.

— Ремень где его? — спросил Кудайназар. — Ты снял?

Абдильда послушно запустил руку в курджун, лежавший тут же, и из-под Ивановой шинели и сапог выудил солдатский ремень с прицепленным к нему киргизским, с богатой рукоятью ножом. Взяв нож, Кудайназар попробовал его остроту, аккуратно обтер клинок о штанину и, срезав со своего пояса полученный когда-то от Бабенко Ивана немецкий кинжал, бросил его на землю.

— Одежду можно взять? — подойдя, спросил Абдильда. — Там еще один валяется, и лошади. Я твой секретарь, Кудайназар...

— Собери только, — сказал Кудайназар и усмехнулся. — Я сам потом разделю. Чтоб всем поровну было.

8

Делили около кибитки Кудайназара, на поляне.

Телеген получил винтовку и коня, то же — Гульмамад. Абдильда отдала одежду убитых.

— Ты — хан, Кудайназар, хан Алтын-Киика, — сказал Абдильда, запихивая одежду в мешок. — Как ты скажешь, так мы сделаем.

— Неси сепаратор, — сказал тогда Кудайназар.

Абдильда сделался бел, как перышко его бороды.

— Иди, Телеген, с Абдильдой и помоги ему нести, — приказал Кудайназар.

— Я сам, — сказал Абдильда упавшим голосом. — Сам принесу...

Нести было не тяжело, да тяжко. Сам! Точно так все вышло, как сказал этому урусскому Иуде. И вовсе не в том дело, что сепаратор теперь будет крутить эта пустобрюхая Каменкуль, которую давно пора отправить, — а его, Абдильды, внучке, или кем она ему там приходится, придется палкой выколачивать масло из молока. Черт с ней, с внучкой, или кто она там такая! Черт ее при-
волок в Алтын-Киик, черт и утащит... Дело в том, что сепаратор будет стоять не на мельнице, а в Кудайназаровой кибитке. Он будет стоять на дерьмовом сундуке, который сразу перестанет быть дерьмовым. Сепаратор — никелированный краешек богатства Абдильды, атрибут его значения и власти. Вместе с сепаратором окончательно перейдет к Кудайназару и власть, и даже как бы все богатство Абдильды — потому что ведь каждый дурак будет теперь уверен, что в бывшем дерьмовом сундуке, под сепаратором, хранятся золотые монетки из мельничного жернова... И все же, размышлял Абдильда неся, дело обстоит не так уж плохо. Пусть люди думают что хотят, но жернов покамест на своем месте, да и в роли секретаря неопытного в житейских делах Кудайназара осмотрительный человек извлечет для себя немало пользы. Хозяин управляет, а советчик направляет. А секретарь — это ведь и есть советчик. Совет подается шепотом, а приказ отдается криком. Вот пусть дорогой Кудайназар и дерет глотку. Да кроме того, времена переменчивы: один Аллах знает, где будет стоять сепаратор завтра, а может, не знает и Аллах.

— Куда заносить? — с достоинством спросил Абдильда, остановившись посреди полянки. Сепаратор он держал на руках, как младенца.

— Ставь на сундук, — сказал Кудайназар. — Каждый, кому надо, будет приходиться и сбивать масло.

Абдильда осел, как будто кто-то ударил его сзади под коленки.

— Я твой секретарь, Кудайназар, — пробормотал Абдильда. — Я должен сказать тебе что-то по секрету.

— Ладно, — помедлив, решил Кудайназар и шагнул следом за Абдильдой в кибитку.

Тяжело опустив сепаратор на сундук, Абдильда отвернулся. Каменкуль, подойдя стремительно, деловито накрыла прибор чистой тряпкой.

— Пусть женщина выйдет, — попросил Абдильда.

Она и вышла, не дожидаясь мужниного подтверждения. Почему бы бедному Абдильде не поговорить с Кудайназаром с глазу на глаз.

— Не делай этого, Кудайназар, — высморкавшись в угол и покачав головой, сказал Абдильда. — Не давай им крутить сепаратор.

Кудайназар вздернул бровь, глядел на Абдильду враждебно.

— Ты начал войну, — не подымая глаз на Кудайназара, продолжал Абдильда. — Они должны тебя слушаться и бояться... У тебя должно быть что-нибудь такое, чего у них нет. Масло тут ни при чем, но, если ты разрешишь им все и они станут как ты — ты больше не начальник. Ты должен брать свою половину добычи, если она тебе даже не нужна.

— По-твоему выходит, — сказал Кудайназар, и враждебности не было в его голосе, а только любопытство, — что они будут лучше воевать, если не давать им крутить сепаратор? Почему?

— Я тоже был когда-то начальником, Кудайназар, — сказал Абдильда и присел на край сундука. — Я держал за глотку Старую китайскую дорогу, потому что мои люди слушались меня, как пальцы руки. И ты знаешь, почему? Я сначала научился запрещать, а потом уже — разрешать.

Они помолчали, глядя в разные стороны.

— Красивая девка или красивый сепаратор — не важно что, — убежденно повторил Абдильда. — Важно, что тебе — можно, а им — нельзя. Без этого все развалится.

— А ты, пожалуй, прав, — сказал Кудайназар и легонько толкнул Абдильду в плечо. — Это плохо, но это — верно.

— Аллах наказывает нас, делая начальниками, — сказал Абдильда и суетливо поднялся с сундука. — А мы говорим за это "спасибо" Аллаху.

Назавтра после того, как известие о событиях у Большого камня пришло на Кзыл-Суйскую заставу, люди долины зарезали не-

мало баранов и выпили немало бузы*. Имя Кудайназара перелетало из кибитки в кибитку вместе с вкусным запахом бешбармака и густой шурпы**. Люди радовались, жуя жирное мясо и обсуждая предполагаемые детали схватки. К концу дня, когда от баранов остались одни кости, а от шурпы ничего не осталось, — к вечеру уже выходило так, что великий Кудайназар, стреляя из припасенной заранее пушки, перебил весь русский отряд вместе с подкреплением, что Иуда Губельман, раненый, лежит на заставе, что в Бухаре началось восстание против нового русского царя и что к утру в Кзыл-Су нужно ждать Кудайназара, который идет со своей сотней на соединение с восставшими.

Обильная пища оттягивает быструю кровь от головы к желудку, и смутное желаемое кажется тогда подручной явью. А потом отдохнувшая кровь возвращается к голове, и бывшая пища удобряет траву и ячмень.

Наутро Иуда Губельман во главе своего отряда бешено проскакал между кибитками Кзыл-Су и, сделав петлю по долине, вернулся за ворота заставы.

Иуда и не думал атаковать Алтын-Киик. Он понимал великолепно, что там, где погибли трое — у Большого камня лягут и все пятьдесят. Будь его воля, он замаял бы это неприятное дело: Бабенко поехал охотиться в Алтын-Киик не только не с его, Иудина, разрешения — но вопреки ему. Устроив засаду, Кудайназар, таким образом, не нарушил своего слова: он не пропустил чужих. Но разве это возьмет кто-нибудь в учет в штабе дивизии! Кудайназар — вооруженный бандит, и приказ о его уничтожении, можно считать, уже отстукан в пяти копиях на штабной пишущей машинке. Первая копия пойдет в Москву, пятая — сюда, в Кзыл-Су. И на этом все будет кончено для Кудайназара. И для многих бойцов кзыл-суйского кавалерийского отряда особого назначения.

Можно, правда, сесть на лошадь и самому отправиться в Алтын-Киик. Но о чем там говорить? Чтоб Кудайназар ушел в Афганистан и там дожидался наступления всеобщей справедливости? Да он ни на шаг не двинется из своего кишлака. А Губельману после такого разговора не миновать трибунала за тайные контакты с врагом. Не уходить же ему, Иуде, в Афганистан вместо Кудайназара.

Вот это здорово: он, Иуда Губельман, — в Афганистане, вместе с

* Овсяное пиво.

** Мясной суп.

этим хитрым стариком, который хотел купить пулемет. Они нападают на караваны, грабят награбленное и поровну распределяют между бедными людьми, у которых нет ни пулемета, ни революционного самосознания. Именно этим, наверно, будет заниматься теперь Кудайназар, пока не придет пятая копия штабного приказа. Воевать за справедливость можно и в долине — не обязательно уходить для этого в Афганистан. Вот Кудайназар и будет воевать. А Иуда будет воевать с Кудайназаром — тоже за справедливость... Стоп, Иуда! Надо просить перевода отсюда обратно в Россию. Но могут и не перевести и, скорей всего, не переведут: в России своих Иуд Губельманов хватает, и не зря его заслали сюда, на край света. Спасибо еще старым друзьям, что за решетку не попал, на северные острова: предупредили, выхлопотали направление. В Москве лучше знают, что такое эта самая интернациональная справедливость, в Москве теперь слушать советов не хотят. Заикнулся один раз Иуда на этот счет, написал письмо в ЦК, самому — и угодил на Памир. Вот и считай, куда лучше идти: в Афганистан караваны грабить, в Россию в тюрьме сидеть или к Кудайназару — оборонять Алтын-Киик от чужих людей.

Бойцы Иудина отряда были настроены куда более решительно. Они требовали запросить подкрепление из Оша, пробиться в Алтын-Киик и разрушить кишлак. Рассказы двоих спасшихся о предательской тропе и Большом камне только разжигали страсти: звери проклятые, засели в своих чертовых гнездах — так мы по дну ущелья пройдем, мы с тыла зайдем по соседней долине. Николай Бабенко, брат убитого Ивана, поймал в стороне от заставы кочевого чабана, загнал его в кошару и, свистя вокруг его головы сабельным клинком, грозил зарубить, если он не возьмется провести отряд в Кудайназаров кишлак другой дорогой. Пока Бабенко Николая по приказу Иуды нехотя хватили и вязали, он успел отрезать чабану ухо с куском щеки.

После этого происшествия кзыл-суйцы, сытно отпраздновавшие победу Кудайназара, затаились по своим кибиткам в ожидании дальнейших событий.

А события никакие не случались.

С вечера тучи, плотные как войлок, оседлали перевал и, скатившись по склону, остановились над самыми крышами Алтын-Киика. Стало трудно дышать. К рассвету серые клочья чуть отступили от земли, сгустились и как бы затвердели в корку — и ливень хлынул. Вздучась река, над ледником запрыгали длинные синие молнии — в белоснежном бездонном пространстве, празднично высвеченном ранним солнцем. Животные жались к людям, люди, оставив свои занятия, опустив руки, покорно ждали чего-то от неба: приятного чуда или конца света.

После полудня, когда небо, подсыхая, на глазах набирало сочную синеву, вернулся с ледника Абдильда. Он ушел туда три дня назад — разведывать заброшенную давным-давно головоломную тропу, уводившую через снежный перевал Тюя-Ашу в таджикскую долину Роз. С ним уехали трое гармских таджиков, бежавших от русских передовых отрядов и приставших к Кудайназару на прошлой неделе. Они пришли пешком через горы, держа путь куда глаза глядят, в глухие края — и это было опасно: пробились эти — за ними могут пожаловать другие, от которых они бежали. Поэтому Кудайназар и послал Абдильду взглянуть, как там на Тюя-Ашу, можно ли ждать кого-нибудь и оттуда. Куда было б спокойней, если б сразу за Алтын-Кииком кончалась земля, и никто, ни одно живое существо с винтовкой за плечами не могло бы попасть сюда, не минуя гибельный, спасительный Большой камень.

— Аллах не даст мне умереть спокойно на мельнице, — довольно улыбаясь, сказал Абдильда, протиснувшись в своей барсовой шубе в узкую дверь Кудайназаровой кибитки.

— Промок? — коротко уточнил Кудайназар. — Эй, Кадам, принеси-ка сухих веток.

Шлепая босыми ногами по глиняному полу, ребенок побежал в чулан, сообщающийся с комнатой, — там хранились мука, ячмень, сушеное мясо, небольшой запас дров.

— Кожа воду не пропускает, — сказал Абдильда, потирая руки над огнем очага. — Добыча есть, Кудайназар, хорошая добыча. Сейчас будешь делить или когда?

— Какая добыча? — сощурился Кудайназар. — Ты с ледника пришел?

— С перевала, — подтвердил Абдильда. — Такие времена наступили: куда ни пойдешь — повсюду люди крутятся. Плохие време-

на!.. Это — тебе. — Из-под полы халата Абдильда вытащил тупоносый маузер и протянул Кудайназару.

Быстрым, резким движением схватил Кудайназар оружие. Разглядывая пистолет, поворачивая его, поглаживая пальцами — он почти не слышал, что говорил ему Абдильда:

— Мы как вышли на Тюя-Ашу, глядим — идут двое, и четыре лошади под вьюками. Какие такие вьюки, что люди таскают — это тебе надо знать обязательно! Ну, мы им хотели проверку сделать, а они — бежать. Догонять пришлось... Лошадей мы их потом поймали.

— А сами они? — спросил Кудайназар без особого, впрочем, интереса.

— Разбежались... — вильнул глазами Абдильда. — Обратно убежали в Таджикистан.

— Куда ж они шли-то? — спросил Кудайназар, пряча маузер.

— Кто их знает... — потерянно пожал плечами Абдильда. — В Китай, наверно, шли. Контрабандисты. Ты сам сказал: чужих никого не пускать.

— Солдат не пускать, с оружием, — жестко поправил Кудайназар.

— А мы оружие у них сняли! — оживился Абдильда. — А как же! Две винтовки и вот наган. Патронов к нему — целый ящик.

— Где? — помягчел Кудайназар. — Покажи.

— Эй, вы! — крикнул Абдильда за дверь. — Тащите!

Таджики внесли в комнату вспоротые вьюки, насвеже перетянутые веревкой.

— Проверил я на всякий случай, — пояснил Абдильда. — Чтоб зря не таскать.

Подойдя, он ловко распутал узлы веревок. Из распавшихся мешков вывалились на пол ковры, медная чеканная посуда, синие узбекские и красные туркменские халаты, вышитые бухарские тюбетейки. Сочно светился туго смотанный гранатовый бархат. Сердолики и "тигриные глаза" вспыхивали на серебряных женских побрякушках марыйской работы. Среди побрякушек поблескивал золочеными ножнами детский кинжальчик с бирюзовыми каплями на черной костяной рукоятке.

— Маленькому хану! — сладким голосом пропел Абдильда, выгребая нож из-под горки украшений. — Расти в отца!

Точным отцовским жестом вырвал Кадам кинжал из рук Абдильды. Кудайназар наблюдал за сыном с одобрением.

— Вот так надо пробовать, смотри! — Кудайназар чуть ни си-

лой взял нож у мальчика. — Если острый, ноготь режет легко. И, смотри, не обрежься: собственным ножом обрезать — позор!

— Хороший мальчик, сильный мальчик! — пел Абдильда.

Трое таджиков молча стояли у стены. От их мокрой одежды шел пар.

— Возьмите себе по халату, — сказал Кудайназар. — И по лошади.

Держа нарядные халаты на отлете, таджики попятились к двери и, кланяясь, вышли.

— Ну, а ты свое уже взял? — Кудайназар глядел на Абдильду с усмешкой.

— Мне достаточно того, что падает с большой телеги на дорогу, — прижав руку к груди, объяснил Абдильда. — Я только наклонился и поднял песчинки от твоего богатства.

— Золотые песчинки? — уточнил Кудайназар. — Ну, ладно, ладно... За наган — спасибо. Считай, что я у тебя его купил за эти самые песчинки.

Абдильда согласно наклонил голову.

— Когда я лез по твоей воле на Тюя-Ашу, — не подымая головы, начал новую тему Абдильда, — когда я скакал за проклятыми чужими людьми, которые не хотели подарить тебе наган от чистого сердца, — тогда я решил: если Аллах вернет меня живым в Алтын-Киик — дать тебе совет...

— Ну, давай, — разрешил Кудайназар, шевеля носком сапога марыйские побрякушки.

— Позволь нам поставить тебе юрту над пещерой Каинды, в урочище!

— Зачем? — удивился Кудайназар. — Это хорошая кибитка, не хуже твоей мельницы.

— Лучше! — возмущенно взмахнул руками Абдильда, а потом сунул ладони в широкие раструбы барсовых рукавов. — Она лучше! И больше! И удобней! Но твои люди должны видеть, что ты живешь как хан, а не как какой-то охотник... Нашим алтын-киикцам это, конечно, все равно — но у тебя есть уже трое таджиков, и еще другие к тебе придут, вот увидишь. В ханской юрте они должны просить тебя взять их в твой отряд, а не в саманной кибитке — пусть даже она будет лучше, чем моя мельница, пусть!

Кудайназар молчал, бередил веткой жар в очаге.

— Знаешь что, дорогой Кудайназар, — вкрадчиво сказал Абдиль-

да, — давай сделаем так: мы — поставим юрту, а ты — посмотришь. Не захочешь там жить — пускай себе стоит для парадных случаев.

— Ладно, — согласился Кудайназар, — ставь. Посмотрим... И это все барахло, — он ткнул ногой в ковры, в халаты, в бархат, — туда отнеси.

Абдильда вздохнул облегченно, поднялся, вышел.

11

Кем Лейла приходилась Абдильде — внучкой или не внучкой — этот вопрос не занимал в Алтын-Киике никого. Сам Абдильда на этот счет тоже не задумывался: не видел смысла. Девочку привезли на мельницу четыре года назад дальние родственники, было ей тогда лет десять или около того. По словам этих родственников, пожаловавших незвано, девочка приходилась дочерью третьему сыну Абдильды, умершему, по словам тех же родственников, от черной оспы где-то в туркменских песках. Все было бы, таким образом, просто замечательно, если бы не одно обстоятельство: девочка называла своего покойного отца Куртом, в то время как Абдильда нарек своего третьего сына при рождении Мурадом. Кроме того, от других родственников, не более, правда, близких, чем эти, привезшие внуку, Абдильде было известно, что третий его сын Мурад живет себе припеваючи в Самарканде, держит там чайхану и ни в какие туркменские пески ехать не собирается. Сопоставляя эти противоречивые данные с кое-какими другими, не менее запутанными, Абдильда пришел к выводу, что приехавшие к нему в гости дальние родственники — никакие ему не родственники, а только знакомые родственников. Это исследование навело его, однако, на мысль, что и те гости, что видели его третьего сына Мурада разносящим чайники с чаем в Самарканде, — тоже, возможно, самозванцы, никоим боком не состоящие с ним в кровном родстве. Усомнившись, таким образом, в достоверности обоих источников информации, Абдильда успокоился и оставил девочку Лейлу у себя.

Лейла выросла тихой и послушной девушкой, выполняющей всякую работу без всякого желания — будь то стирка, стряпня или изготовление строительных кирпичей из овечьего помета. От дедушки Абдильды она никогда теплого слова не слышала и, дожив до пятнадцати лет, так и не узнала, что это такое. Да и из прежней

своей, совсем уж детской жизни она не могла извлечь рассеянной памятью ничего подобного: покойный Курт, пропавший в туркменских песках, не был, как видно, мастером по части отцовской ласки. Бегавшая летом босиком, а зимой в старых Абдильдовых калошах, кое-как прикрытая рваным платьем неведомо с чьего плеча — Лейла совершенно себе не представляла, зачем ее произвели на свет, для чего привезли в Алтын-Киик и что ждет ее в будущем.

Так — в тряпье и в калошах — и привез ее Абдильда в новую юрту. Она, до обыкновения, не спросила, куда ее везут — раз везут — значит, так надо Абдильде. Большая, белого войлока юрта ей очень понравилась. Невиданная роскошь внутреннего убранства вовсе сбила ее с толку. Полагавшая, что доставили ее сюда для уборки или другой подсобной работы, она не могла и вообразить — а озабоченного Абдильду вопросами не тревожила, — что за место отведено ей здесь, на мягких коврах. Она решила ждать, потому что ничего другого ей не оставалось.

Ждать пришлось долго: Абдильда вместе с тремя таджиками, ставившими юрту, вернулся в кишлак. Убедившись, что она здесь одна, Лейла почувствовала себя свободней. Она пробовала пальцем ворс красных текинских и голубых персидских ковров, щупала сложенные стопкой против входа шерстяные одеяла, крытые пунцовым шелком. Поколебавшись немного, она откинула крышку резного, украшенного белыми жестяными цветами сундука и с восторгом обнаружила там клад: на китайском шелке, на гранатовом бархате разбросаны были серебряные украшения: кольца, броши, булавки, подвески, ожерелья. Она зачарованно и жадно выгребла все это богатство из сундука и на его дне, под тканями, нашла серебряное полированное зеркало в медной резной рамке. Глядя в его овал, она едва ли не со страхом обнаружила на своем, никогда не виденном прежде лице красивый тонкий нос с маленькими плоскими ноздрями, широко расставленные, крупные густо-коричневые глаза, выпуклые крепкие губы над резко сужающимся книзу острым подбородком. Отведя руку с зеркалом, она внимательно осмотрела еще и длинную шею, уходящую в засаленный ворот платья. Что-то ей здесь не понравилось; оттянув пальцами ворот, она повертела головой, не отводя глаз от зеркала, а потом свободной рукой подняла с ковра ближе к ней ожерелье из бус и монет и приложила его к груди. Впервые в жизни уродливая грязная одежда вызвала в ней чувство злости и протеста. Бросив зеркало, она рывком отмотала ст бархатного

столба длинную широкую полосу и завернулась в нее — вся, по самую шею, выпростав только руки. Скрепив тяжелую ткань у горла серебряной защепкой, украшенной мелкой бирюзой, она освобожденно потянулась всем своим гибким и сильным телом и улыбнулась улыбкой счастливого спящего человека. Сидя на красном ковре, в гранатовом бархатном мешке, она, спеша, надевала на себя одно за другим ожерелья и кольца, прикалывала и цепляла броши и подвески. Когда на ковре не осталось ничего, она тесно свела руки на груди, локоть к локтю, как будто обняла, и держала, не пускала самое себя, — и так сидела, неподвижно и тихо.

На вошедшего с мешком Абдильду она взглянула как бы из другого мира, куда ему нет доступа. Она, пожалуй, готова была сейчас принять смерть — чтобы остаться так навсегда, в бархате и серебре.

Но Абдильда, мельком на нее взглянув, не схватился за нож, а усмехнулся даже как бы и одобрительно. Опустив на ковер мешок, он выбросил из него ворох женской одежды: платье, шаровары, красный чапан и мягкие кожаные сапожки.

— Надень, — коротко приказал он.

Выбравшись из своего бренчащего балахона, Лейла, подняв одежду, ушла с ней за занавеску. Спустя малое время она появилась оттуда — другая, как бы вдруг повзрослевшая и не принадлежащая никому.

— Поди сюда, — сказал Абдильда, и она подошла, но не очень близко.

Нагнувшись над мешком, Абдильда пошарил в нем руками и вытащил “золотые брови” — наголовный обруч с привешенными к нему золотыми стрелками, главное украшение невесты.

— На!

Настороженно глядя на старика, Лейла надела обруч на голову.

— Красивая девка, — цепко оглядывая внучку, пробормотал Абдильда. — Худая только...

— Это все — мне? — спросила Лейла и вытянула голову, как бы боясь не расслышать ответа.

— Тут усьма в банке, — не ответил Абдильда, — брови намажь... И приberi — скоро жених приедет.

Выйдя из юрты, он долго глядел на кишлак внизу. Потом подошел к лошади и, вздыхая, стал отвязывать от седла баранью тушу, розовую и еще теплую.

Крутя ручку сепаратора, Каменкуль неизменно получала от этого удовольствие. Вот и сейчас, закончив уже крутить, она испытывала благодущие и приятную легкость, праздничное какое-то головокружение — как будто бы это она сама только что плескалась и кружилась в молочной пене и теперь вот стала масляной и гладкой.

— Скажи, Кудайназар, — позвала она, — что это за юрту ставит Абдильда в Коинды?

Кудайназар плел камчу из девяти тонких, как шпагат, полосок сырой киичьей кожи. Закусывая зубами конец полоски, он с силой натягивал ее, а пальцами выравнивал, округлял тугое тело камчи. Нелегко плести камчу из девяти полосок.

— Дурит Абдильда, — сказал Кудайназар. — Он думает, что я настоящий хан. Иначе зачем мне юрта в Коинды?

— Мы переедем жить в юрту? — спросила Каменкуль. — Здесь все под рукой, и соседи...

— Нет, что ты, — рассеянно сказал Кудайназар, опуская камчу в тазик с водой. — Я съезжу сегодня, посмотрю — и все. Чтоб Абдильда не обижался.

— Таджики говорят, что там красиво, — сказала Каменкуль, подсаживаясь поближе к мужу. — И юрта — белая.

— Белая, — подтвердил Кудайназар. — Я еще не видал... Это Абдильды юрта, сколько лет она у него в чулане пролежала — хоть проветрит.

— Абдильда хитрый, — сказала Каменкуль. — Всю жизнь сидел на своем добре, а теперь вдруг слез. — Она быстро повернула голову, взглянула через плечо, сепаратор стоял на своем месте, на сундуке, накрытый ситцевой тряпкой.

— Он себя не обойдет, — сказал Кудайназар, разминая камчу в воде, — ты не бойся... Старый, старый — а голова у него варит хорошо.

— А этот урус, что приезжал, сахар привез, — спросила вдруг Каменкуль, — он умер? У Большого камня?

— Что это ты вспомнила! — недовольно сказал Кудайназар, вытягивая камчу из тазика.

— Он был не хитрый, — сказала Каменкуль.

— Он не хитрый, — в упор глядя на жену, сказал Кудайназар. — Он — страшный.

Каменкуль молчала, и несогласное это молчание ударило, стегнуло Кудайназара.

— Страшный! — крикнул он, отшвыривая камчу. Мелькнув, камча ударилась о стену и оставила на серой глине влажный змеиный след. — Он не может понять, что мы за люди, и жалеет нас! Он все здесь хочет сделать по-своему — а нам этого не надо!

— Он плохой, Кудайназар, он плохой, — испуганно глядя на бушующего мужа, сказала Каменкуль. — Ты лучше знаешь...

— Я не говорю, что он плохой, — сгорбив плечи, глухо сказал Кудайназар. — Я говорю, что он — страшный... Дай-ка мне сапоги, поеду я.

Увидев поднимающегося Кудайназара, Абдильда поскакал ему навстречу. В юрте остались гости: Гульмамад с Телегеном и один из таджиков, хорошо умеющий варить плов с курагой. Таджик суетился над казаном и вдумчиво вдыхал сладкий пар, бивший из-под сдвинутой крышки. Мясо для бешбармака уже поспело.

Лейла сидела за занавеской. Она сидела там уже битый час: Абдильда отослал ее туда, как только первый гость подъехал к юрте. Ей было все равно, где сидеть и ждать. Она знала, что ее позовут, когда придет время.

Кому именно Абдильда отдает ее в жены — этот вопрос дразнил воображение Лейлы, но не занимал ее целиком. В конце концов, все мужчины одинаковы: одно и то же делают со своими женами, и жена Телегена работает на своего мужа точно так же, как Каменкуль на Кудайназара. И — стар ли муж или молод, мал ростом или велик — нет такой женщины, которая не кричала бы и не плакала, когда подходит ее время рожать... Само ожидание, само это сидение за занавеской — вот что переполняло все существо Лейлы сладким волнением и гордостью. Скоро это сидение закончится тем, что придет кто-то, к кому она выйдет отсюда, как только ее окликнут, — и сразу она превратится из мусорной девчонки в женщину Лейлу, такую, как другие. В благодарность за это она готова была без сопротивления принять все, что бы ни ожидало ее после выхода из-за занавески. Она боялась только одного: как бы Абдильда не передумал.

К разговору в юрте она прислушивалась рассеянно: Гульмамад обсуждал с таджиком обстоятельства погоды и виды на сурчинный расплод. Телегена сурки не занимали; он громко вздыхал и переходил от казана к коглу с мясом, обнаруживая голод.

Копыта простучали тяжело и отчетливо, как будто тропа про-

ходила не по склону горы, а по сердцу Лейлы. Она быстрым движением поправила "золотые брови", одернула чапан.

— Заходи в твой дом, садись на хозяйское место! — услышала она голос Абдильды. Она пожалела о том, что в новой занавеске еще нет дырок.

Оглядевшись, Кудайназар повесил карабин на плетеную стенку юрты, обошел достархон и сел на ковер против двери.

— Садись рядом со мной, Абдильда, — сказал он, отодвигая от себя свободную подушку, крытую бухарским шелком в желтых и фиолетовых разводах. — Ты хорошо все это сделал.

— Сегодня почетное место рядом с тобой занято, — немного в нос сказал Абдильда. — Завтра я там посижу, если захочет Аллах... У тебя новый дом, сегодня рядом с тобой пусть посидит новая хозяйка. Прими мой подарок, хан Кудайназар! Самое дорогое отдаю...

Абдильда прослезился бы, если б помнил, как это делается. Подойдя к занавеске, он широко и резко ее отдернул. Кудайназар и гости внимательно наблюдали за его действиями.

— Иди! — сказал Абдильда, и Лейла, звеня "золотыми бровями", ожерельями и подвесками, шагнула затекшими ногами, подошла, села рядом с Кудайназаром, немного позади.

Гости молчали одурело, только Телеген нарушил тишину, выплюнув муху, не вовремя залетевшую к нему в рот. Абдильда, как стоял с краем занавески в руке, так и остался там стоять.

— Что это ты придумал, Абдильда... — проворчал Кудайназар, искоса глядя на Лейлу. — Есть у меня хозяйка, одной хватает.

Сидя прямо, положив руки на колени, Лейла плакала мелкими, злыми слезами. Губы ее дергались, острый подбородок прыгал.

— Не обижай, Кудайназар, — Абдильда отпустил наконец занавеску и теперь стоял, сведя руки под животом. — Вон, и люди твои скажут: от души дарю, без калыма. Прими!

— Хорошая девка, — одобрил Телеген. — Что-то раньше я ее тут не видел.

Лейла плакала, но с места не двигалась. Где ей велели сидеть, там она и сидела. Повернув голову к плечу, Кудайназар глядел на нее цепко.

— Нет, Абдильда, — решил Кудайназар. — Давай есть, а потом отвези ее куда-нибудь отсюда.

Таджик молча и быстро разбросал боорсаки* по достархону

* Кусочки теста, сваренные в бараньем жиру.

и поставил котел с мясом. Кудайназар выбрал жирный кусок, протянул неподвижной, как пень, Лейле.

— Ешь! — сказал Кудайназар. — Что это тебя дед до сих пор взаперти держал... Посоли мясо-то!

Принимая кусок, Лейла наклонилась и поцеловала Кудайназарову руку. Поцелуй пришелся выше кисти, в рукав.

— Ай, молодец! — тоскливо сказал Гульмамад. — Какая хорошая девушка!

Кудайназар хотел было что-то сказать Гульмамаду, переведя на него взгляд с Лейлы. Он даже руку к нему протянул, словно бы поймал вдруг важную, счастливую мысль, равно приятную для всех здесь, а прежде всего для Лейлы и Гульмамада, — но раздумал, промолчал.

Так и ели — молча, глядя на свои куски. Собирались уже разъезжаться, когда снизу, с тропы, прилетел протяжный, с переливами свист.

— Дозорный! — Кудайназар поднял голову, прислушался. — Погляди, Телеген!

— Сюда скачет, — сказал Телеген, выглянув в дверь.

Подскакав, дозорный таджик прокричал с порога:

— Люди! Отряд! Снизу идут!

— Сколько? — отталкивая таджика и выходя, спросил Кудайназар.

— Пятнадцать будет, — сказал таджик. — Точно не знаю.

— Почему костры не жгли?!

— Так снизу они! — снова отчаянно закричал дозорный таджик. — Оттуда, из Гарма!

— Все со мной! — крикнул Кудайназар уже из седла.

— Слышал: все! — Абдильда подталкивал смирного Гульмамада к двери. — Нечего тебе тут сидеть... А ты, — он оборотился к Лейле, — жди, будь ты неладна. Серебро-то в мешок спрячь — отнимут...

12

Отряд подымался вдоль реки по каменной целине, кованные лошади скользили. В подступающих сумерках Кудайназар отчетливо видел цепочку всадников и пяток вьючных яков, шедших табунком.

— Абдильда со мной пойдет, — сказал Кудайназар, кладя карабин перед собой поперек седла. — Всем остальным — здесь быть, из арчатника не выезжать. Они не должны видеть, сколько вас... Смотри, Телеген, не стреляй, пока не скажу!

Кудайназар тронул повод и не спеша поехал с опушки навстречу отряду. Абдильда догнал его.

— Мои старые глаза ничего не видят в темноте, — заезжая сбоку, просительно сказал Абдильда. — Я могу потерять тебя из виду и поехать не в ту сторону... Возьми вместо меня Телегена, он буен и рвется в бой!

— Только барс видит в темноте, дорогой Абдильда, — рассудительно объяснил Кудайназар. — Телеген смел, как барс, но и он не разглядит ночью ушей собственного коня... Так что держись ко мне поближе и вместе мы, может быть, не заблудимся.

— Сколько их, этих разбойников? — упавшим голосом поинтересовался Абдильда. — Я даже не мог сосчитать...

— Шестнадцать, — сказал Кудайназар.

— Что ты будешь с ними делать? — спросил Абдильда.

— То же, что они со мной, — пробормотал Кудайназар. — Теперь помолчи, Абдильда. И спасибо тебе за плов.

Выехав на лысый пригорок, они остановились. Голова отряда была от них на расстоянии брошенного камня.

— Не ссорься с ними, — шепнул Абдильда, привставая на стременах. — Давай дадим им баранов, муки — и пусть идут куда хотят.

— Эй! — не слушая, крикнул Кудайназар. — Кто такие?

— Свои! — помешкав, ответили снизу. — Идем из Гуликанда.

— Двое подымайтесь сюда, — указал Кудайназар. — Четырнадцать пусть внизу ждут, или мои люди будут стрелять.

— Они всех нас перережут! — прошептал Абдильда. — Какие твои люди!

Кудайназар молча поднял плетъ над головой Абдильды. Старик вжал голову в плечи, сгорбился и закрыл глаза, ожидая удара.

— Надо бить тебя, — прошипел Кудайназар, — а я не бью. Плохо делаю.

Под самым пригорком тяжело и коротко дышали лошади, осыпались мелкие камни.

— Где вы тут? — позвали снизу.

— Подымайтесь, — сказал Кудайназар и, сняв карабин с седла, сунул его прикладом под мышку.

Трое всадников въехали на пригорок и остановились. Первый в тройке, рябой усатый узбек лет пятидесяти, переводил взгляд с Кудайназара на Абдильду. За рябым, как бы приклеенный к нему, чернел круглоголовый бритый детина в тюбетейке, плечистый и широкогрудый. Высокая рыжая лошадь переступала ногами под тяжелым седоком.

— Я сказал — двое, — Кудайназар повел стволom в сторону третьего.

— Он подарки везет, — нашелся рябой. — Я — Суек-бай, это все мои люди... Тут кишлак должен быть — где он?

— Куда идешь? — не ответил Кудайназар.

— Говорю тебе — в кишлак! — чуть подъехал Суек-бай. Бритый детина двинулся за ним следом. — Завтра мы отдохнем, потом вырежем заставу в Кызыл-Су и уйдем в Бадахшан... Я принимаю тебя, парень, в мой отряд. Сколько у тебя, кстати, людей?

— Весь кишлак. Я — хан Кудайназар, и я тебя в свой отряд не беру. И в кишлак ты не войдешь — я тебя туда не звал.

Суек-бай подался назад, и тотчас в руках бритого детины сине блеснул винтовочный ствол.

— Слушай меня, Суек-бай, — не шевелясь в седле, сказал Кудайназар. — Я вижу, мы миром не разойдемся: у тебя свои дела, а у меня — свои. Ты ведь обратно в Гуликанд своей волей не пойдешь... Но если вы нас сейчас тронете пальцем, мои люди перебьют вас всех — мы вас заметили еще днем, я посадил людей вдоль реки и в арчатнике.

— В темноте не перебьете, — уверенно заметил Суек-бай. — А что тебе за дело, если я вырежу урусскую заставу?

— Ты их вырежешь и уйдешь, — сказал Кудайназар. — А потом придут другие урусы и сожгут мой кишлак.

— Иди ко мне в отряд, — повторил приглашение Суек-бай, — мне люди нужны. Из Кызыл-Су уйдем в Бадахшан.

— Я не бродяга и не узбек, — злобно щурясь, сказал Кудайназар. — У меня дом есть, я из него не уйду... Или проваливай обратно в Гуликанд, или давай так, если ты мужчина: будем драться. Ты меня убьешь — кишлак твой. А я тебя убью — твой отряд пускай уходит отсюда. Зачем нам наших людей переводить зря!

— Вот слова героя! — с надеждой в голосе произнес Абдильда. — Сам Аллах говорит его устами.

— Мой секретарь будет драться вместо меня, — отчеканил Суек-бай, — он больше годится для такого дела. А если ты его убьешь, —

он, усмехнувшись, взглянул снизу вверх на бритого детину, — я сам уведу моих людей обратно в Гуликанд.

— Рубиновые слова! — оценил Абдильда предложение Суюк-бая. — Хрустальные!

— Если по справедливости, то тогда мой секретарь должен драться с твоим секретарем, — взвесил Кудайназар и поглядел на Абдильду. Абдильда окаменел, и лошадь его как бы окаменела под ним. — А, Абдильда?

Старик молчал обреченно.

— Но мои люди сами знают дорогу в кишлак, — продолжал Кудайназар, — и мне их туда вести не надо: сами дойдут. Поэтому, Абдильда, разреши мне драться вместо тебя.

— Да, да, — прохрипело каменное изваяние и покачало головой.

Предстояло еще обсудить условия схватки, и делать это следовало с холодной головой: всякие условия таят в себе угрозу обмана.

Драться договорились по старинному обычаю, ножами. Местом боя выбрали участок кустарника, между пригорком и арчовыми зарослями: там никто не мог ни помочь, ни помешать дерущимся. Безоружного Абдильду решено было передать Суюк-баю заложником — на тот случай, если кто-нибудь из людей Кудайназара, скрывающихся в арчатнике, вздумает вмешаться в поединок на стороне своего начальника и нарушить тем самым справедливое равновесие возможностей. Произойди это — Абдильда, по условиям договора, должен был быть убит на месте. Это условие не слишком тревожило заложника: двое таджиков были не в счет, Гульмамад тоже, и только один Телеген мог, пожалуй, сдурю полезть не в свое дело.

— Теперь зови своих людей, — сказал Кудайназар, договорившись о главном. — Пускай они с тобой здесь ждут. Расскажи им, что мы решили. А оружие свое пусть они сложат вот сюда, а рядом зажгут костер. К оружию мы поставим часовых — одного ты, одного я.

— Это еще зачем? — с подозрением спросил Суюк-бай.

— А вот зачем, — объяснил Кудайназар. — Если я убью этого твоего, твои люди захотят отомстить, и ты с ними ничего не сделаешь. А мы договорились людей зря не губить... Если он ме-

ня убьет — вы разберете свое оружие, и Абдильда поведет вас в кишлак. Слышишь, Абдильда?

Заложник согласно кивнул головой.

— Ну, ладно, — согласился Суюк-бай. — Пускай здесь стоят. Но только без костра! А то ты думаешь, я глупей тебя: при костре нас со всех сторон видно.

— Хорошо, — отступил Кудайназар. — Зови. И я одного своего позову — часового.

— Сначала я позову, — выставил условие Суюк-бай. Он повернулся ко второму своему спутнику, стоявшему поодаль: — Езжай, приведи их.

— Теперь я, — сказал Кудайназар, когда под пригорком затопали лошади подъезжающего отряда. — Эй, Телеген, не стреляй! — прокричал он, повернувшись к арчатнику. — Сюда езжай! Быстро!

Быстрота появления Телегена произвела, как видно, впечатление на Суюк-бая.

— Где ты людей прячешь? — спросил он, безуспешно вглядываясь в черную опушку арчатника.

— Не спеши, — почти миролюбиво предложил Кудайназар. — Либо ты их скоро увидишь, либо — нет... Сейчас зачем тебе знать?

Бойцы Суюк-бая складывали оружие в кучу и отходили, сядились на землю. По обе стороны кучи стали двое вооруженных: Телеген и второй спутник Суюк-бая.

— Все, — сказал Кудайназар, оглядев пригорок. — Вот мой нож. Покажи свой!

Бритый подъехал и, придерживая левой рукой полу халата, чтоб не отпахнулась, правой вытащил из-за пояса длинный широкий нож наманганской работы. Кудайназар на нож не смотрел — смотрел, как бритый придерживает что-то тяжелое под полую халата.

— Ты заезжай справа, а я слева заеду, — сказал Кудайназар. — У кустов коней оставляем, пешком пойдем навстречу.

Бритый молча отпустил повод и поехал к кустам. Следя за движением своего противника, не спеша поехал и Кудайназар. Бритый вместе с лошастью был едва различим в темноте.

Увидев прискакавшего Телегена, Абдильда успокоился. Как бы ни закончился поединок в кустарнике — его, Абдильды, заложнической жизни ничто не угрожало. А насчет исхода поединка сомневаться, к сожалению, почти не приходилось: слишком не-

равны были силы, да и не полено же прятал этот бритый под полой халата! Одним словом, не зря Суек-бай, проводив своего секретаря, чувствовал себя на этом проклятом пригорке так уверенно и спокойно.

Он и вообще-то человек рассудительный, Суек-бай, с ним можно попробовать договориться. Вон как тонко обсуждал он с бедным Кудайназаром условия всей этой гибельной сделки! Хитрость с костром он в два счета разгадал и поставил на своем: костер не жечь. Хороший человек Суек-бай — и все же лучше заложником у него не быть, а сидеть себе спокойно на мельнице. О покойниках плохо не говорят — но несправедливо поступил Кудайназар, бросив своего секретаря на произвол судьбы! И это за все, что он для него сделал: за сепаратор, за юрту, за Лейлу, наконец.

— Эй, старик! — услышал он голос Суек-бая. — Оглох ты, что ли! Скота много в кишлаке?

— Много скота, — с поклоном ответил Абдильда. — Овцы есть, коровы. А если ты кур любишь — у меня есть полтора десятка.

— Ты хитрый старик, — одобрительно сказал Суек-бай. — Пойдем-ка посидим вон там на кошме, пока не вернулся мой богатырь.

Проходя мимо Телегена, Абдильда остановился и указал начальственно:

— Стоишь, Телеген? Хорошо стой!

И тяжело опускаясь на кошму, пояснил:

— Телеген — мой секретарь. Бойкий парень!

Положение и качества Телегена, однако, не заинтересовали Суек-бая.

— Договорись со своими людьми, чтоб они ко мне перешли, — сказал Суек-бай. — А я тебя, старик, не обижу.

— Люди разбегутся, наверно, — уклончиво сообщил Абдильда. — Двое-трое, может, каких и останутся, а остальные в горы убегут.

— Пускай бегут! — не стал возражать Суек-бай. — Это даже лучше. Главное, чтоб они мне не мешали.

— Что ты! — горячо запротестовал Абдильда. — Кто тебе тут будет мешать. А я на что!.. Только вот совет один хочу тебе дать...

— Что еще за совет? — недовольно поморщился Суек-бай.

— Сегодня ночью, — доверительно придвинулся Абдильда, — у меня спи, никуда больше не ходи. Юрта у меня есть — ханская,

а в юрте девочка сидит. Мед, а не девочка! Внутри мед, а снаружи персик.

— Ты хитрый старик! — засмеялся, закашлялся Суюк-бай. — Побольше давай мне таких советов!

Звук выстрела в кустарнике оборвал его смех и кашель.

— Теперь скоро поедем, — сказал Суюк-бай, ковыряя ногтем в ухе.

— Ай-яй-яй! — покачал головой Абдильда. — А договорились ведь на ножах! Я и не знал, что у Кудайназара с собой обреза.

Суюк-бай улыбнулся удачной шутке старика.

Отпустив коня и войдя в кустарник, Кудайназар прислушался. По его подсчетам, Бритый должен был пробираться сквозь кусты метрах в сорока отсюда. По шуму листвы, по хрусту надломленной ветки можно было бы почти точно определить направление его движения — но, сколько ни вслушивался Кудайназар, ни один звук не мешал тишине ночи: Бритый, надо думать, выжидал, как и Кудайназар. Так прошло несколько минут — прозрачных, тишайших.

Стараясь не делать лишних движений, Кудайназар отвязал от ремня тяжелое, в пол-ладони, железное огниво. Примерившись, он снизу вверх, без замаха, швырнул его перед собой, метя правее прямой, связывавшей его с Бритым. Огниво упало метрах в двадцати, пробив листву и густые ветки кустарника. Стука от удара его о землю не было слышно — словно бы кто-то, тайно пробиравшийся, оступился вдруг и налег плечом на сухой куст.

Как будто в ответ на уловку Кудайназара отдаленно засмеялся, закашлялся на пригорке Суюк-бай.

Грохот выстрела по ту сторону кустарника оборвал его смех и кашель.

— Ай-яй-яй! — покачал головой Абдильда. — А договорились ведь на ножах! Я и не знал, что у Кудайназара с собой обреза.

Суюк-бай улыбнулся удачной шутке старика.

— Когда мы будем в кишлаке? — спросил Суюк-бай. — Отдыхать надо в твоей ханской юрте.

— Четверть часа отсюда, — сказал Абдильда. — Плов есть с кургой.

— И персик с медом, — хохотнул Суюк-бай. — Вино есть?

— Урусский спирт.

— Ай, молодец старик! — сказал Суюк-бай. — Я сделаю тебя моим вторым секретарем, специально по персикам и спирту.

Абдильда завозился на кошке, собираясь подняться.

— погоди, — удержал его Суюк-бай. — Первый секретарь притащит сейчас голову Кудайназара, и мы покажем ее вашим людям.

Бритый стрелял по кусту, куда упало огниво; Кудайназар видел вспышку и слышал, как визжали картечины и секли ветви и стволы. Сразу вслед за выстрелом сухо затрещал кустарник: Бритый, не скрываясь больше, продирался вперед.

Низко пригнувшись, раздвигая руками ветви, Кудайназар юркнул в чащу. Пистолет он держал в правой руке, нож взял в зубы: а вдруг не сработает Абдильдов подарок. Кудайназар крался, оставляя простреланный куст справа, обходя его по дуге. Он крался привычно и уверенно, как на охоте: ногу вперед, ощупать землю, ступню ставить мягко, ногу вперед, ощупать землю... Продолжая вслушиваться, он словно бы видел Бритого, размахивающего своим обрезом, озирающегося, вертящего круглой башкой на толстой шее.

Он увидел его у самого куста: темная туша, тупо шарящая по земле его, Кудайназарово, тело. Кудайназар пружинисто остановился и, радостно чувствуя сильные толчки сердца, прицелился в широкую спину Бритого, на две ладони пониже плечей.

И — не выстрелил. Сунув пистолет за ремень, за спину, он выпустил изо рта нож в ладонь, повернул его лезвием кверху. Нельзя стрелять. Сухой стук пистолетного выстрела отличается от раскатистого грохота обреза, как грохот обреза от небесного грома. Это и ребенку понятно. А раз обрез у Бритого, значит, у Кудайназара — пистолет, и он стреляет вторым, последним. Услышав пистолет Кудайназара, Суюк-бай уберет Телегена, раздаст своим людям оружие и бросится на кишлак — против Гульмамада да двух таджиков... Нельзя стрелять. Плохо, жаль.

Бритый отчаялся в своих попытках обнаружить труп или хотя бы раненого и стоял настороженно, выставив обрез. Потом он, как видно, решил расширить круг своих поисков и, уже не производя лишнего шума, шагнул в сторону, оглядываясь и ощупывая свободной от оружия рукой землю. Вдруг он резко выпрямился, поднеся что-то к лицу и разглядывая.

Он стоял теперь спиной к Кудайназару, в нескольких метрах от него. Рука с обрезом была опущена, куцый ствол глядел в землю.

Кудайназар метнулся вперед и, отведя руку в прыжке, воткнул нож в спину Бритого, под лопатку справа. Он хотел — в шею, но не достал: высоко. Бритый уронил нащупанное в траве Кудайназарово огниво и медленно осел на землю лицом вперед, в куст. Укороченный приклад обреза торчал из-под его живота.

Кудайназар с силой потянул приклад к себе. Словно бы помогая ему, Бритый со стоном повернулся на бок. Лицо его было в крови: падая, он проколол себе глаз острым сучком и надорвал глазницу. Смотреть на черную дыру под бровью, пульсирующую кровавым студнем, было страшно.

Отойдя на шаг, Кудайназар поднял обрез и выстрелил Бритому в голову.

— Вот он идет, — сказал Суюк-бай.

Кудайназар подымался на пригорок, держа в руке обвисшую от крови тюбетейку Бритого.

Загребая ногами, Суюк-бай подался назад, прислонился спиной к мешком сидевшему на кошме Абдильде. Старик крепко обнял его за плечи левой рукой — а в правой, скользнувшей к голенищу сапога, мелькнул узкий, как ремешок конского повода, короткий кинжал. Прижав к себе на миг податливое, ищущее спасения тело, Абдильда, не глядя, вогнал кинжал в грудь Суюк-бая.

— Я убил его, — сказал Кудайназар и швырнул кровавую тюбетейку на гору оружия.

— Чего там говорить... — поднявшись, Абдильда за плечи тащил Суюк-бая с кошмы. — Я тоже зарезал этого узбекского шакала. Видите? — он оборотился к людям Суюк-бая, сидевшим немо.

— Эй, вы! — закричал Кудайназар. — Не вставайте и не шевелитесь! Слушайте меня! Это оружие я забираю. А вы уходите. Сейчас. Кто останется — умрет.

— И лошадей оставьте! — сердито тряс головой, добавил Абдильда. — И яков, яков!

— Эй, Абдильда, езжай за Гульмамадом и таджиками, — приказал Кудайназар. — А вы — идите! Ну! — он поднял винтовку из трофейной кучи и щелкнул затвором. Немедля щелкнул затвором и Телеген и упер ствол в голову своего напарника — часового покойного Суюк-бая. Тот, стараясь не двигаться, опустил свой карабин в общую кучу.

— Не стреляй пока, Телеген, — сказал Кудайназар. — Поставь ружье.

Телеген повиновался неохотно.

— Возьми нас к себе, хан, — потирая ушибленный Телегеном висок, попросил второй часовой. — Куда мы пойдем?

— Сколько с тобой идет, как тебя там? — спросил Кудайназар.

— Берды я, туркмен, — сказал часовой. — Из Байрам-Али.

Пятеро выползли из темноты, встали за Берды.

— Остальные — уходите! — крикнул Кудайназар. — Держи! — он бросил Берды винтовку. — Ты подгони сюда лошадей и яков. И присмотри, чтоб эти все отсюда убрались. Телеген, иди с ним!

Подъехал Абдильда с Гульмамадом и таджиками.

— Я молился за тебя Аллаху, Кудайназар, — сказал Абдильда, сойдя с седла. — Этот вонючий узбекский шакал хотел сегодня ночью спать в твоей кибитке.

— Я устал, — сказал Кудайназар. — Поехали в юрту. Вино есть у тебя?

— Урусский спирт, — сказал Абдильда и улыбнулся.

— Чего смеешься? — покосился Кудайназар.

— Я не смеюсь, — сказал Абдильда. — Это я радуюсь, дорогой Кудайназар.

Лейла спала, свернувшись на ковре, у потухшего очага. Она не слышала, как подъехал Кудайназар с Абдильдой и Телегеном, как вошли они в юрту, как запалили жировой светильник.

Сев на свое место, Кудайназар легонько потряс ее за плечо. Она вскинулась, глядела мутно.

— Неси воду руки мыть! — сказал Кудайназар, не отпуская ее. — Ну, чего глядишь? Сон, что ли, плохой видела?

— Я сейчас! — вскочила Лейла. — Вода холодная только!

Кудайназар вернулся, говорил с ней, держал ее за плечо. Кудайназар велел ей принести воду!

Телеген разжег огонь в очаге, поставил котел на треногу. Не дожидаясь, пока согреется мясо, Кудайназар выудил пальцами кусок, вгрызся, зажевал. Жуя, взглянул на руку — рука была в засохшей, почерневшей крови. Кудайназар поморщился досадливо, потом засмеялся.

— Эй, Лейла! — позвал он. — Где ты там?

Она уже входила, с кумганом и медным тазом. Держа руки под струей, он тщательно соскребал ногтями следы крови. Вода в тазе, начищенном до розового блеска, стала бурой.

— Давай помолимся, Кудайназар! — сказал Абдильда, когда

Лейла, обойдя его и Телегена, подхватила полный таз с пола. — Зачем тебе ссориться с Аллахом? Он спас тебя сегодня от смерти. Когда ты молился в последний раз?

Повторяя вслед за Абдильдой полузабытые слова молитвы, Кудайназар думал о том, что это, пожалуй, неспроста пришла ему вдруг в голову мысль бросить огниво. И почему этот бритый козел так удивился, нащупав его в траве, как будто нашел там собственный кошелек! А не удивись он, не повернись спиной, не опусти обрез — еще неизвестно, чем бы это все кончилось. Нет, неспроста...

— Омень! — пробормотал со всеми вместе Кудайназар и провел холодными, чистыми ладонями по щекам к подбородку.

Телеген, не мешкая, разлил по пиалкам спирт. Мужчины выпили, выдохнули шумно. Мясо шипело, стреляло в горячем жиру.

— Хорошо так жить, — сказал Кудайназар. — Когда жизнь — как это мясо: шипит, стреляет. А на вкус — сладко! — он жевал, чавкал, жадно глотал. — Ешь, Лейла! Сладко тебе?

Лейла часто кивала, "золотые брови" ее звенели: сладко, Кудайназар, очень сладко, очень хорошо! Спасибо тебе, что приехал обратно!

— Что там есть еще? Плов? Боорсаки? Ешьте! Наливай, Телеген!

Телеген ел и пил с удовольствием, Абдильда — через силу. Его заложничество не прошло для него даром. Он устал и хотел спать.

Не успели доесть плов, как приехал Гульмамад с Берды. Услышав хрюканье яков, Абдильда оживился.

— Тащи сюда мешки, Гульмамад! — закричал он, обернувшись к двери. — Тащи, здесь развяжешь!

По содержимому мешков с добычей можно было восстановить маршрут отряда Суек-бая. Туркменские сурога* каракуля шапки чередовались с бухарскими халатами, самаркандские золоченые кальяны — с драгоценным хивинским оружием. Где-то по дороге разграбил Суек русскую церковь: из глубокого и мягкого ташаузского тельпека** торчал серебряный крест, украшенный жемчугом и финифтевыми образками. Один мешок доверху был набит диковинной едой — колбасами, круглыми сырами, жирной соленой ры-

*Редкий, драгоценный сорт каракуля.

**Туркменская меховая шапка.

бой, винными бутылками. Все это добро Кудайназар велел нести на достархон.

— Дай-ка мне халат поменьше, вон тот, вышитый, — указал он Берды, разваливавшему мешки. Встряхнув халат — из него высыпались, стайкой покатались по достархону серебряные монеты, — он набросил его на плечи Лейлы, неотрывно глядевшей на добычу, загромоздившую пол-юрты.

Наконец последний мешок был вскрыт, в нем оказались каракулевые шкурки, ковры и деревянный ящик с брусками мыла.

— Золото где? — строго спросил Абдильда, уставившись на Берды. — Не может такого быть, чтобы не было золота. Я-то знаю...

Берды вопросительно взглянул на Кудайназара.

— Ну! — бросил Кудайназар.

Из-под ковров, из-под халатов Берды извлек небольшой кожаный сундучок, запертый на висячий серебряный замочек. Отодвинув колбасу и рыбу, освободив место, он аккуратно поставил его на достархон.

— Я — секретарь Кудайназара, — подгребая к себе сундучок, бормотал Абдильда. — Мне считать надо...

Сорвав замочек концом кинжала, он, осторожно потрясывая, высыпал из сундучка несколько перстней с круглыми и овальными прозрачными камнями, мешочек золотого песка и длинное ожерелье из золотых монет. Он начал было, перебирая, считать монеты, но Кудайназар, перегнувшись через достархон, толкнул его:

— Дай-ка сюда!

Ожерелье не умещалось в ладони, свешивалось, стекало вниз своими монетами. Неодобрительно поджав губы, смотрел Абдильда на то, как Кудайназар надевает струящийся этот желтый ручеек на тонкую шею его внучки, дочери покойного Курта. Телеген, Гульмамад и Берды молчали, дивясь внезапной удаче этой девчонки.

— Что молчите! — крикнул Кудайназар и яростно, зло ударил себя кулаками по коленям. — Тот молчит, кто валяется в кустах! У него в глазу сук, ему это не надо! — он пнул ногой стопку золотистых каракулевых шкурок. — Берите все! Берите и смейтесь! И ешьте, ешьте!

Быстро побросав перстни и золотой песок в сундучок, Абдильда придвинул его поближе к себе и прикрыл полый халата. Гульмамад и Берды несмело подошли, сели у края достархона.

— Наливай, Телеген, — сказал Кудайназар. — Сегодня Аллах разрешает нам пить. А, Абдильда?

— Разрешает, дорогой Кудайназар, — подтвердил Абдильда. — Иначе зачем бы он послал нам все эти богатства?

Сам Абдильда, однако, пить не стал, а принялся подробно и обстоятельно осматривать добычу. Добравшись до деревянного ящика, он задумчиво уставился на мыльные бруски.

— Эй, Берды! — окликнул он туркмена. — Мыло вы зачем с собой таскали? Там, внутри — что?

— Это не мыло, аксакал, — ответил Берды, вытерев жирные пальцы о штаны. — Это динамит. Как порох, только сильнее.

Абдильда поспешно отступил на шаг и оттуда, с новой позиции, разглядывал, вытянув шею, серые бруски.

— Ты можешь разрезать один кусок пополам? — подозрительно спросил он.

— Могу, аксакал, — сказал Берды. — Я умею его взрывать.

— Не надо, — решил Абдильда. — Не режь, пускай лежит.

Закончив осмотр, Абдильда снова подсел к достархону. Никто уже не ел, все сидели, подремывая. Только Лейла из-за плеча Кудайназара во все глаза смотрела на старика.

Абдильда поманил ее.

— Стели постель, ишачка! — шепнул он ей на ухо. — Дорогой Кудайназар, разреши мне идти, или Аллах пошлет меня искать Суюкбая. И гости твои тоже очень устали и хотят ехать домой. Вставайте, вставайте!

Прижимая сундучок к животу, он вытолкал гостей из юрты, вышел последним и закрыл за собой дверь.

Двигаясь быстро, Лейла уже разостлала два одеяла на ковре, одно поверх другого, и положила подушки в изголовье. Подойдя к светильнику, она обернулась к Кудайназару. Он следил за ней.

— Можно? — спросила она.

— Гаси, — сказал Кудайназар.

Сбросив одежду, сняв "золотые брови", Лейла откинула краешек одеяла, легла и лежала не шевелясь. Кудайназар продолжал сидеть у достархона, опершись локтем о подушку. Казалось, он спал.

Тогда она выскользнула из-под одеяла, подползла к нему, стащила с него сапоги. Он протянул руку в темноте, погладил ее по щеке.

— Идем, — сказал Кудайназар.

Тело у нее было худое, послушное. Грудь были маленькие, острые.

В кибитку Кудайназар наезжал теперь от случая к случаю. Заезжал, сидел, уходил в юрту.

Каменкуль готовила ему чай, жарила свежие боорсаки в бараньем жиру. Она ни о чем не спрашивала мужа, как будто ничего и не произошло, не изменилось в их жизни.

Сына Кудайназар баловал, дарил ему все, что бы он ни попросил — будь то красивая меховая шкурка, драгоценная побрякушка или кусок яркого шелка, из которого Кадам, кромсая его ножом на ленты, делал украшения для баранов и собак. Как-то отец принес ему свое огниво, прицепил поверх полосатого халатика к поясу, сказал:

— Это — береги. Никому не отдавай.

Несколько раз Кудайназар брал Кадама с собой в юрту, кормил его там сладостями, играл с ним в войну, в охоту на барса, давал поездить на своем коне. При Кудайназаре Лейла держалась с ребенком скованно, а когда он не видел, уходил — сама затевала с Кадамом шумные игры, гоняла с ним по окрестным скалам. Не успев поиграть в детстве — теперь, в довольстве и роскоши, она безоглядно наверстывала упущенное. Дневные игры с Кадамом доставляли ей больше удовольствия, чем обременительные ночные игры с его отцом.

Каменкуль не желала Лейле смерти. Она желала ей бесплодия. Никогда прежде не просив ни о чем Бога, она молила его теперь об одном: не дать Лейле ребенка. Для себя она не хотела от Бога ничего, полагая, что все, что ей отпущено, раньше или позже выпадет на ее долю. Просить о возвращении Кудайназара не приходило ей в голову: Кудайназар — хан, и кому еще, как не ему, завести себе вторую жену. Так и должно быть, это в порядке вещей. Но пусть живот этой второй будет пуст, как дырявый кувшин.

Только смерть Лейлы могла вернуть Кудайназара. Но Каменкуль не желала ей смерти.

Пятую копию приказа доставил из Оша нарочный. Вскрыв пакет, Иуда Губельман расправил на столе бумажку и прочитал:

“По поступившим сведениям, остатки банды Курманалы Мамедова, именующего себя Суюк-баем, перевалили горы восточнее таджикского Гарма и, выйдя к кишлаку Алтын-Киик, соединились там с местными контрреволюционными элементами. Следует ожидать нападения Суюк-бая на заставу Кзыл-Су. Приказываю частью имеющихся в наличии сил атаковать кишлак Алтын-Киик и ликвидировать банду Суюк-бая”.

Контрреволюционные элементы... Частью имеющихся в наличии сил... В Оше, выходит дело, не придают Кудайназару особого значения. Суюк-бай — вот что их тревожит. И эта “часть сил” — не хотят, разумеется, начисто оголять ненадежную долину, оставлять ее без присмотра.

О Суюк-бае Иуда кое-что слышал. В чаду гражданской войны этот бывший торговец халвой и рахат-лукумом, прикрываясь басмаческим знаменем, сколотил отряд и, кочуя по Средней Азии, грабил всех, кто давал себя ограбить. Худая слава шла о нем по кишлакам: при его приближении жители убегали в горы, увозя семьи и забирая пожитки. Суюк-бай отличался жестокостью, необычной даже для этих, привычных к проливаемой крови, мест. Он сдирал с людей кожу, жег их живьем на кострах, топил в колодцах. Он не делал никакой разницы между бедными и богатыми, и это в глубине души возмущало Иуду Губельмана более всего. Иуда готов был принять правила страшной игры, в которой проигравший трещит на костре, обложенный, как сырое полено, сухими сучьями. Но явная несправедливость действий Суюк-бая доводила Иуду до злобного бешенства. Он жаждал избавить от него беззащитных бедняков, жаждал его убить.

По дороге к этой цели висел над пропастью Большой камень.

Для атаки Иуда выделил двадцать пять бойцов, с пулеметом, и дал двадцать четыре часа на подготовку к операции. Был срочно найден надежный проводник, которого для еще большей надежности заперли в сарай, чтоб он никому случайно не проболтался. Надежного проводника искал, чтобы не вызывать подозрений у местного населения, еще более надежный повар-узбек. Этот повар, поставленный на ноги Кудайназаровым мумие, рыская в

поисках проводника, послал подростка — племянника своей свояченицы — в Алтын-Киик с наказом передать, что нападение на кишлак назначено на послезавтра. Подросток выехал немедленно, прибыл в Алтын-Киик глубокой ночью и был доставлен в юрту. Выслушав посланца, Кудайназар приказал вызвать к нему Абдильду, Телегена и Берды.

Наутро Кудайназар с Берды выехали к Большому камню.

— Динамит большую силу имеет, — рассказывал Берды по дороге. — Если у тебя, положим, один кусок — кибитку можно на воздух поднять. Положим, сто кусков — гору можно поднять. Положим, тыща — тогда что хочешь можно поднять! А как же!

Кудайназар слушал внимательно, спрашивал:

— А он не отсырел, твой динамит? Не засох?

— Ни-ни! — возмущался Берды. — Так не бывает!

Кудайназар оставил Берды у Большого камня, а сам поехал дальше, вниз по ущелью. Берды долго лазал вокруг камня, присматривался, приняхивался, выгребал ладонями каменный мусор из щелей и дыр. Распаковав свои мыльные брусочки, он прилаживал их то в одно место, то в другое, — пока наконец не распределил все их по щелям. Потом он разрезал толстый шнур на равные куски — по количеству заложенных брусков, подсоединил концы этих кусков к брускам, а сами провода протянул на каменную площадку над камнем, — на ту самую площадку, с которой стрелял Кудайназар с Телегеном по людям Иуды Губельмана два месяца тому назад.

Кудайназар скоро вернулся к Берды из своей разведки, а к вечеру к Большому камню подъехал Абдильда с Телегеном и Гульмамадом, с тремя таджиками и пятью узбеками покойного Сук-бая — со всеми, кто в состоянии был в Алтын-Киике стрелять, резать и швырять камни.

Связав лошадей приехавших в цепочку, Гульмамад угнал их обратно за перевал.

— Слушайте меня и запоминайте, — сказал Кудайназар, когда все одиннадцать человек собрались на площадке под Большим камнем. — Завтра сюда придут урусы, и мы будем с ними драться. Если мы будем плохо драться, они убьют нас всех и захватят кишлак. У урусов нам нечего взять, кроме их оружия, их коней и их жизни, — и это вся добыча. Пусть их жизнь принадлежит мне, а все остальное вам. Не добивайте раненых, не убивайте, если сможете не убить без вреда для дела. Если Аллах захочет, он даст

им крылья, чтоб они улетели обратно к себе в Урусию... Сейчас Абдильда возьмет троих из вас и пойдет с вами отсюда назад, за Большой камень. Там вы подыметесь выше тропы и спрячетесь, каждый в отдельности — но так, чтоб выход с этой площадки и тропа были вам видны. Шестеро пойдут со мной вперед, и мы сделаем то же самое. Берды останется здесь. Когда появятся урусы, мы немного пропустим их, а потом начнем стрелять, чтобы они скакали сюда и укрылись под Большим камнем. Если они проскачат Большой камень — стреляйте и загоните их обратно на эту площадку... Телеген, ты пойдешь со мной.

Через пятнадцать минут площадка была пуста. Наверху, над камнем, на тесной террасе, защищенной скальным бруствером, спал Берды, завернувшись в овчину и положив голову на моток толстого шнура.

Иуда поднял свой отряд в пятом часу утра. Уже светало, оба хребта по сторонам долины были окрашены в густо-розовый цвет, а чебо над ними с каждой минутой меняло свою окраску: из лилового оно сделалось нежно-зеленым, потом желтым, потом кроваво-красным.

Отряд шел рысью, огибая спящий кишлак Кзыл-Су по дуге. Перейдя реку, всадники вытянулись в цепочку и перешли на галоп. Иуда то возглавлял отряд, то пропускал его мимо себя и шел замыкающим. Он думал о том, как не дать Суюк-баю уйти на ледник, как отрезать ему путь и загнать его в тупиковую каменную щель. О Кудайназар он старался не думать.

Все было уже передумано этой ночью. Если бы только Кудайназар согласился повести его отряд из Алтын-Киика в погоню за Суюк-баем! Это сняло бы с него обвинение в басмачестве, это спасло бы его от пули во дворе заставы. Это — и еще объявленная на прошлой неделе амнистия для басмачей, добровольно сдающихся в плен.

Но Иуда знал: Кудайназар не согласится. Он, скорее всего, погибнет в этом бою, на пороге своей кибитки.

Получив приказ, Иуда решил было передать командование ударной группой своему заместителю, а самому остаться в Кзыл-Су: это было в его власти. Он бы так и сделал — если бы на месте Суюк-бая оказался какой-нибудь басмаческий командир. Но Суюк-бая Иуда Губельман хотел взять собственными руками.

После получаса скачки отряд втянулся в голое ущелье. Ущелье

полого подымалось к далекому перевалу, река с каждым километром сужалась и набирала скорость. Тропа, вильнув в последний раз вдоль реки, круто прыгнула вверх, на левый склон, и шла теперь параллельно реке, в трехстах метрах над дном ущелья.

Отряд перешел на рысь, потом на шаг. Иуда приказал растянуться, держать интервал в двадцать метров. Нашупав в бинокль Большой камень, он вызвал из строя одного из тех двоих солдат, что ушли от Кудайназаровых пуль.

— Ну-ка, погляди, — он протянул солдату бинокль. — Где это было?

— Точно тут, товарищ командир! — сказал солдат, поведив биноклем. — Не доходя этого чертова камня. Как раз под него лошадь Бабенко утащила, Ваню. А они, звери, над камнем сидели, прятались там.

Звери, подумал Иуда. Ну да, звери: прятались. Хорошо, что не взял с собой Николая Бабенко. Он за брата весь кишлак бы зарубил: и женщин, и детей.

— Возвращайся в строй, — приказал он солдату. — Пулеметчик и заряжающий — в хвост!

Перестраиваться на ходу, на узкой тропе, было трудно: лошади храпели, пятались. Пришлось остановиться.

— Метрах в пятистах от Большого камня я тебя оставляю, — сказал Иуда командиру пулеметного расчета. — В случае чего, ты меня прикроешь, понял? Не нравится мне что-то этот камень... Бей поверху, своих, смотри, не задень.

Иуда с пулеметчиками замыкали теперь колонну. В полукилометре от камня он остановился, указал: здесь.

— Тропу не перегораживайте. Как пройдем камень — догоняйте, — сказал Иуда, отъезжая. Со своего места он видел, как голова растянувшегося отряда уже подползала к Большому камню.

Он отъехал на полсотни метров, когда выстрел, стукнувший сзади, свалил его лошадь. Падая, он ударился головой и потерял сознание. Лошадь накрыла его.

Стрелял Кудайназар. Он узнал Иуду из своего каменного укрытия над тропой, где он сидел бок о бок с Телегеном, пропустил его и выстрелил в лошадь. Его выстрел служил сигналом: вдоль тропы, до самого Большого камня, поднялась беспорядочная частая стрельба. Всадники заматались, отстреливаясь, часть из них поскакала вперед, часть повернула обратно. Высунувшись из укрытия

по пояс, Телеген бил по отходящим. Первая же пулеметная очередь отшвырнула его, бросила спиной на скалу. Он сполз на землю и остался сидеть, уронив голову на грудь, прошитую наискось пулевой строчкой. Винтовка его скатилась по склону, перепрыгнула через тропу и полетела в пропасть, увлекая за собой мелкие камни.

Пулемет поливал огнем вдоль тропы, вжимая людей Кудайназара в их укрытия. Пулеметчики не видны были за щитком. Последний из отступающих, с ходу перескочив через придавленного лошадью Губельмана, брал разбег перед препятствием: пулеметчиками, прижавшимися со своим пулеметом к самой кромке тропы над обрывом. Четыре конских корпуса оставалось всаднику до пулемета, четыре скачка. Сейчас пулемет замолчит, пропуская своего... Раз, считал скачки Кудайназар, два, три, четыре. На счете "четыре" он выпрямился во весь рост и, почти не целясь, выстрелил в поравнявшуюся с замолчавшим пулеметом лошадь. Лошадь дернула на скаку всеми четырьмя ногами и, обрушившись на пулемет, утащила его вместе с расчетом и собственным седоком в обрыв.

Он глядел, не скрываясь, как медленно валится лошадь, когда сильный тупой удар толкнул его в левое плечо. Пригибаясь, прижав ладонь к месту удара, он оглянулся на Большой камень: там стреляли, пулемет больше им не мешал. Сидя на каменном дне своего укрытия, рядом с мертвым Телегеном, он видел, как последние всадники скрылись под Большим камнем — и сразу по другую его сторону дробью посыпались выстрелы: это, загоня солдат обратно на площадку, открыли огонь люди Абдильды.

Потом, все сильнее прижимая мокрую ладонь к ране, он увидел, как Большой камень снялся со своего места, подпрыгнул, на миг повис в воздухе и рухнул на площадку. И сразу упруго дохнул в уши, налетел грохот взрыва. Дым и каменная пыль медленно подымались над Большим камнем, закрывшим дорогу на Алтын-Киик.

Повесив карабин на шею, придерживая раненое плечо здоровой рукой, Кудайназар сполз на тропу. У него кружилась голова, он шел медленно. Добравшись до убитой лошади, он сел на труп и, наклонившись, стал понемногу вытягивать из-под него Иудины руки, сначала одну, потом другую. Прodelав это, он достал из-за пазухи обернутую в войлок бутылку с водой, выпил несколько

глотков, а остальное вылил на лицо Иуды. Иуда шевельнул головой и открыл глаза.

— Вылезай, начальник, — сказал Кудайназар и через силу раздвинул губы в улыбке. — Узнал?

— Зарежешь меня? — спросил Иуда.

— Нет, — сказал Кудайназар, подымая правую руку к плечу. Плечо немело, рука наливалась чужой тяжестью.

Упираясь освобожденными руками в камни, Иуда выбирался из-под лошади.

— Ты ранен? — спросил Иуда. — Дай-ка ножик.

Кудайназар показал подбородком на свой ремень.

— Не нарежешь? — спросил он и снова с трудом улыбнулся. — Кончился бой...

Дотянувшись, Иуда вытянул нож и, снизу вверх, от раструба, вспорол рукав Кудайназарова халата. Потом вытащил из кармана гимнастерки моток бинта с ватной прикладкой и туго перетянул плечо Кудайназара.

— Кости целы, — сказал Иуда. — Теперь дай-ка я ноги вытащу.

Он высвободился, оглянулся, увидел шапку пыли, висящую над обвалившимся Большим камнем.

— Сколько там моих солдат? — не глядя на Кудайназара, спросил Иуда. — Все?

— Нет, — сказал Кудайназар. — Не знаю. Половина.

— Это Сук-бай? — повернулся Иуда к Кудайназару.

— Нет, — сказал Кудайназар. — Мы его убили.

Иуда зажмурился, сжал ладонями лицо.

— Что ты сделал... — сказал Иуда. — Что ты сделал...

— Так мы договорились, начальник, — сказал Кудайназар. — Так я сделал.

Застучали копыта — к ним скакал по тропе Абдильда с подставным конем в поводу. Узнав Иуду, он ощерился приветливо. Потом увидел повязку с кровавым пятном на плече Кудайназара.

— Ранен?!

— Уходи, Абдильда, — сказал Кудайназар. — Оставь коней и уходи. Жди меня у Большого камня.

Свирепо оглядываясь на Иуду, Абдильда поплелся по тропе.

— Езжай, начальник, — сказал Кудайназар. — Возьми коня и поезжай домой. И я поеду.

— Нет у меня дома, Кудайназар, — сказал Иуда Губельман. — Ничего больше нету... Слушай! — он положил руку на здоровое

плечо Кудайназара. — Приезжай на заставу. Сам, по собственной воле. Я скажу, что Большой камень взорвал Сүек-бай и сам тут погиб. Что его люди тебя ранили. Иначе тебе — смерть, не сегодня, так через неделю, через две! У меня никого нет, а у тебя сын растет...

— Ты ему школу тут построишь, — сказал Кудайназар и поморщился — не вышло улыбки. — Вон, Телегена тоже убили... Поезжай, начальник. Может, увидимся еще, кто знает... Помоги мне только сесть.

Иуда подставил плечо, и Кудайназар, перевалившись в седло, поехал шагом к Большому камню.

Поехал и Иуда — в другую сторону пути.

15

Вторую неделю после боя у Большого камня Кудайназар не показывался в кибитке — отлеживался в юрте, кутаясь в халат, в шубу, в шерстяное одеяло. Его знобило, рана заживала медленно, трудно. Лейла и смирный Гүльмамад неотлучно находились при нем. Целый и невредимый Абдильда приезжал, садился в ноги больного, рассуждал о золотых и серебряных дорогах Аллаха, по которым идут теперь Телеген, и Берды, и еще двое таджиков, и еще трое узбеков.

Кудайназар слушал молча, думал о буйном Телегене, шагающем по серебряной и золотой дороге. Бедный Телеген! Нет там бесполезных камней, нечего ему таскать... Кудайназар жалел Телегена, день за днем переживал его смерть — и иногда удивлялся этому.

Однажды к нему привезли Кадама. Мальчик, наслышанный о ранении отца, был тих, серьезен. Сидя у его плеча, он ел варенье из запасов Сүек-бая.

— Мама как? — спросил Кудайназар, с удовольствием глядя, как сын ест.

— Хорошо, — сказал Кадам. — Когда ты придешь домой?

Кудайназар оглянулся — Лейла подгоняла большой бухарский халат щуплому Гүльмамаду.

— Это мама велела узнать? — спросил Кудайназар.

— Нет, — насупился Кадам. — То есть она не велела тебе говорить... Когда придешь?

— Вот встану и приду, — сказал Кудайназар. — Ты ешь... Маме скажи, чтоб пришла.

— Я звал, — сказал Кадам. — А она не идет.

Каменкуль пришла в конце второй недели вечером.

— Я пришла, — сказала Каменкуль, подойдя к Кудайназару. — Больно?

— Больно пока, — сказал Кудайназар. — Хорошо, что пришла.

— Хорошо тут у тебя, — сказала Каменкуль, оглядывая юрту. — Здравствуй, Гульмамад. — На Лейлу она не глядела, как будто ее тут не было вовсе. Не обязана она была глядеть на Лейлу, вот и все.

— Лейла, сделай чай, — сказал Кудайназар. — Достархон положи.

— Нет, — сказала Каменкуль. — Не надо, Гульмамад. — Как будто это Гульмамаду велено было кипятить воду и звенеть пиалками. — Я сказать тебе что-то должна, важное дело.

— Не хочешь при ней? — не понижая голоса, спросил Кудайназар. — Выйди, Лейла.

Бренча украшениями, Лейла медленно поднялась с ковра — она сидела против Каменкуль, по другую сторону Кудайназаровой постели. Теперь женщины глядели друг на друга: Лейла — с угрозой, а Каменкуль со змеиной улыбкой.

— Ты тоже, Гульмамад, — сказал Кудайназар. — Подождите там.

Гульмамад вышел вслед за Лейлой. Ему было приятнее сидеть с ней на улице, чем без нее — в юрте.

— Узбек у меня был от урусского начальника, — сказала Каменкуль, поправляя подушку под плечом Кудайназара. — Прощение пришло басмачам, которые сами придут. Начальник велел передать: приезжай.

— Что за узбек? — Кудайназар глядел колко.

— Повар, — сказала Каменкуль. — Он говорит, ты ему когда-то помог. Он еще говорит: быстрее надо ехать, пока урусский начальник тут. Отправляют его куда-то отсюда... Что сделаешь, Кудайназар?

— Посмотрим, — неохотно сказал Кудайназар. — Отправляют, значит, Иуду...

— Я завтра приду еще, — поднялась Каменкуль. — Может, поедешь, Кудайназар?

— Оставайся, — попросил Кудайназар. — Может, поеду завтра. Не двигаясь с места, Каменкуль отрицательно покачала голо-

вой. Она стояла и глядела на мужа, на его лицо, на его плечо. Она не могла остаться, не хотела уйти. Она ничего не могла — только Кудайназар мог.

— Ты ведь не один, — как бы извиняясь, сказала Каменкуль. — Гульмамад здесь, и эта...

Она бы осталась, конечно, осталась.

— Гульмамада позови, — сказал Кудайназар. — И сядь, не стой.

Гульмамад вошел, остановился у постели.

— Слушай, Гульмамад, — словно бы ловя разбежавшиеся вдруг слова, сказал Кудайназар. — Тут вот, значит, дело какое... Я вижу, тебе Лейла нравится. Бери ее себе, друг! Женись на ней, что ли — она пойдет. Юрту эту и все тут — себе возьмите... Ну, что?

Гульмамад прикидывал что-то, соображал.

— А если не пойдет? — мигая, горестно сказал Гульмамад.

— Пойдет, пойдет, — успокоил Кудайназар. — А не пойдет — возьмешь, смирный ты человек... И, знаешь — забери ее сейчас в кишлак. Скажи: Кудайназар велел. Завтра утром я уеду, а вы тогда возвращайтесь сюда жить.

— Сказать, что ты так велел? — переспросил Гульмамад.

— Так и скажи, — подтвердил Кудайназар. — И не забудь сказать, что это все добро — ваше.

— Спасибо тебе, Кудайназар, — пятясь к двери, сказал Гульмамад. — Я пойду тогда...

— Иди, — отпустил Кудайназар.

Дверь закрылась за Гульмамадом.

А Каменкуль уже разводила огонь в очаге, стучала пиалками, перетирая их шелковой тряпкой.

Ночью, лежа рядом с Кудайназаром на подстеленном сбоку коврике, Каменкуль плакала. Она плакала тихо, стараясь не вздрагивать и не тревожить Кудайназара. Она смеялась бы, если б могла не плакать.

Вот и Большой камень. На новом месте лежится ему прочней, надежней. Едва намеченная тропа обходит его поверху.

Берды лежит под камнем, русские лежат. Отсюда начинаются их золотые и серебряные дороги.

Поднявшись на камень, Кудайназар остановил коня. Река глухо гудела в ущелье, пересвистывались сурки, красными столбиками стоя у своих нор. Свежий ветер пах дикой горной жизнью, как будто никогда не пролетал он над кибитками кишлаков.

— Смотри, Кадам, — сказал Кудайназар. — Вон там наш Алтын-Киик...

Мальчик оглянулся. Ему было тесно сидеть в седле перед отцом, он ерзал.

— А где площадка? — спросил Кадам.

— Нету, — сказал Кудайназар. — Камень упал... Ну, поехали.

Тропа спускалась к устью ущелья, к реке. Горы по бокам ущелья стали положе и выше. Утих ветер, и солнце припекало без помех.

Проехав брод, Кудайназар в обход кишлака взял направление на заставу. Он ехал шагом, не понукал коня. Все пространство между бродом и заставой зеленело травой.

Ворота заставы были притворены, но не заперты, и Кудайназар, толкнув створку рукоятью камчи, въехал во двор. Несколько солдат сидели на лавке, позади коновязи. Не глядя на них, Кудайназар проехал мимо, к дому.

Крик "Кудай!" совпал со звуком выстрела. Бабенко Николай, брат Ивана, оттягивал затвор, выбрасывая стреляную гильзу.

Кудайназар выпустил повод и, заваливаясь вбок, соскользнул с седла на землю. Через двор от дома к нему бежал Иуда Губельман.

Кадам развернул коня, припал к холке, поскакал за ворота. Теперь сидеть в седле было просторно, удобно.

Кадам хорошо знал дорогу домой.

История вторая

КАДАМ

1

Долина уходила на восток — широкая, гладкая, как спина сильной лошади. Там, на востоке, запирали долину далекие горы, оттуда приезжали по бетонке разболтанные грузовики, привозили в поселок Кзыл-Су товар: водку, ткани, консервированное китовое мясо, китайские одеяла. Увозили призывников. Привозили геологов. Увозили овечью шерсть. Привозили зимовщиков на гидрометеостанцию, на Великий ледник. Увозили трупы альпинистов, которым не повезло в Памирских горах.

Так и ездили по бетонке.

А долина уходила на восток, как тридцать пять лет тому назад, когда не было бетонки, и школы не было, и не было поселковой больницы — а была застава. За эти тридцать пять лет одни умерли и успокоились и ушли по золотой и серебряной дороге, а другие народились и топтали теперь тропы гор. И слезы по умершим высохли, а по еще живущим не пролились. И ничего не изменилось.

Солнце еще не село. Оно висело низко над горизонтом, огромное, блеклооранжевое. Казалось, ему некуда уйти отсюда и скрыться, и оно, коснувшись земли, подпрыгнет сейчас упруго, как пузырь. Толкнуть бы его легонько — оно покатится, переваливаясь, по камням земли, по низкой траве, покрывающей степь рыжей шерсткой. Налитое мягким живым сиянием, солнце не слепило; глядеть на него было не больно. Высвеченные закатным светом предметы — холмики, глиняные развалины могилы какого-то святого человека, сурки, красными пеньками торчавшие у входов в норки, — все это отбрасывало длиннейшие, четко очер-

ченные у основания и размытые к далекому концу тени. Несильный ветер ерошил траву, и тени двигались, и вся степь была ряба от этого движения на месте.

А две тени перемещались, скользили едва заметно, и трудно было с первого взгляда отделить их, отъединить от всеобщего усыпляющего мельтешенья: двое всадников ехали по степной дороге. Они ехали шагом, не спеша — зачем спешить? Разве можно обогнать свою тень, хотя бы на полшага? Они ехали рядом, плотно, и стремена их, встречаясь, позванивали.

— Говорят, вельвет привезли, а, Саид-ака? — спросил старик и снизу вверх покосился на своего спутника. — Правда?

Старик был одет бедно. Серый его халат, опоясанный солдатским ремнем, давно уже утратил изначальный цвет и форму, а мышиного цвета красноармейская шапка-ушанка, отороченная бобриком, истончала от носки. Пегая его лошаденка выглядела неважно, да и седло тоже: деревянная луковица передней луки обтесалась, стала похожа на грушу.

— Привезли. Венгерский, — с высоты своего коня подтвердил Саид-ака. Конь его добрый, гладкий — шею не обхватишь. Крепкая, аккуратно и с любовью подобранная упряжь светилась серебряными бляшками. Зеленая бархатная подушка на седле заставляла — хочешь, не хочешь — относиться к ее владельцу с известной долей почтения: не всякий, нет, далеко не всякий человек, выезжая в степь, подложит себе под зад такую красивую подушку.

Саид-ака, однако, восседал на зеленой подушке без излишней надменности — но покойно и прочно, как человек, совершенно уверенный в своих силах и благоопределенности своего жизненного пути. Он выглядел лет на пятьдесят, и так оно, наверно, было и в действительности. Его широкие, обложенные сильным мясом плечи обтягивал синий френч из фальшбостона, широкие галифе не скрывали родовую кривизну ног, обутых в старые, латанные, но зато хромовые сапоги. Синяя полуформенная фуражка с длинным утиным козырьком сидела на голове неизменно, как естественное завершение черепа. Глядя на эту фуражку — да и, конечно, на самого Саид-аку — можно было с уверенностью предположить, что есть у него еще и другая фуражка, такого же точно фасона, но поновее, для торжественных случаев.

Да, верно, есть у Саид-аки такая фуражка, она висит в его до-

ме на гвозде, в комнате для гостей.

— Наш вельвет лучше, — сказал старик, легко продолжая разговор. — Толще... Коричневый есть?

— Синий только, — сказал Саид-ака. — Тебе-то что? Брать, что ли, хочешь?

— Да нет, — с готовностью откликнулся старик. — Просто так спрашиваю.

— Чудной ты человек, честное слово! — сказал Саид-ака и цыкнул слюною сквозь зубы. Зубы у него были редкие, но крепкие и крупные, как скребки. Верхний резец, категорически отделившись от соседей, рос вперед и сильно оттопыривал губу вверх, оставаясь постоянно открытым и сухим. — Если "просто так" — зачем спрашивать? Я тебя не пойму. Что ты на земле делаешь?

— Еду вот, — сказал старик очень вразумительно. — Невестка моя рожала на стойбище — так я к ней сестру Мурзы — парикмахера возил: помогать. Она хорошо умеет помогать, сестра эта... А про вельвет — что ж! Я вельвет люблю.

— Купить-то не можешь! — укорил Саид-ака и собрался было снова цыкнуть, но почему-то вдруг передумал и решительно сглотнул заготовленную для цыканья слюну. Саид-ака был человек решительный во всех отношениях — и не зря вот уже сколько лет работал он председателем сельсовета.

— Не могу, — без раздумья согласился старик. — А вот, например, солнце — я его тоже люблю, а купить не могу; никто не может.

Саид-ака оценивающе оглядел сначала старика, а потом солнце, наполовину скрытое уже горизонтом.

— Что за солнце! — сказал Саид-ака немного раздраженно и всердцах. — Лепешка, что ли... Завтра ветер будет.

— Пусть будет! — радостно откликнулся старик, как бы отдавая должное проницательности Саид-аки. — Шуба есть у тебя.

Солнце уменьшалось на глазах: на палец, еще на палец. На востоке, над горами, зажглись первые, тусклые на светлом небе звездочки. Одна была крупней других и светилась, сияла особняком.

Саид спешил и, наступив на повод ногой, нагнулся над ручьем. Опустившись на корточки, он зачерпнул воду согнутой ковшиком ладонью, потом еще раз. Попив, Саид-ака звонко прополоскал горло ледяной водой, аккуратно опростал рот и вытер губы полою френча, внутренней ее стороной.

— Завтра отдыхать надо, — сказал Саид-ака, поднимаясь. — Все равно ветер...

— Правильно говоришь, — сказал старик. — Вельвет почему?

— Слушай, аксакал! — повернувшись в пояс, Саид тяжело отворотился от своего коня, на котором он затягивал подпругу, и поглядел на старика с начальственным укором. — Ты, что, сбрендил, что ли, со своим вельветом? — Подняв руку, Саид покрутил большим пальцем у виска, и тонкого плетения камча, висевшая на запястье, зазмеилась. — Я продавец, что ли? Продавец знает, директор. Приедем в Кызыл-Су — иди в магазин, спрашивай, что хочешь... Ну, поехали!

— Так я ведь что! — примирительно сказал старик и, понукая, пнул лошаденку сбитыми каблуками в костлявые бока. — Можно и не про вельвет говорить, а про лошадь или про ветер, или про человека какого-нибудь. Говорить про все интересно, и время быстрее проходит.

— Беспольный ты человек! — определил Саид-ака, заезжая вперед.

Солнце зашло, и степь, вмиг лишившись своих золотистых и бежевых красок, стала бурой и холодной. Весь мир кругом выцвел, поблек. Только небо, словно бы в память об ушедшем солнце, продолжало с непостижимой быстротой менять оттенки, неуклонно, однако, густея, от яблочнозеленого переходя к серому, и от бирюзового — к синему. Небо теперь разделено было на две части: запад еще розовел, дышал, а восток стал лилов, и звезды там светились отчетливо.

На востоке, теперь уже близко, суетливо замигали огни поселка, куда держали путь всадники. Они ехали все так же неспеша — куда им спешить? Случайно съехавшись в предзакатной степи, они разъедутся в вечернем поселке, и каждый отправится в свою сторону жизни.

В синей прозрачной тьме по обочинам дороги появились низкие мазанки, вылепленные из глины, смешанной с сухим овечьим пометом. Миновав деревянную арку, неизвестно с какой целью перекинутую над дорогой, всадники въехали на главную улицу поселка. По улице, освещенной редкими фонарями, шли пешком и ехали верхом на лошадях люди, сосредоточенно бежали большие чабанские собаки, толстоногие, с по-волчьи опущенными к земле тяжелыми головами.

Саид-аку узнавали, подходили к нему, подъезжали, жали ему руку двумя своими — почтительно. Да ведь он того и стоил.

— Как здоровье, Саид-ака?

— Саид-ака, как здоровье? Ну, слава Богу!

Старик, которого никто покамест не узнал и здоровьем которого никто и не думал интересоваться, сидел на своей лодашенке в стороне, не подъезжал. С одобрением наблюдал он за тем, какой почет воздают здесь его степному попутчику. Но тереться о стремя чужого почета он не хотел и поэтому не подъезжал. А собственного почета у него не было, и не было денег на вельвет, и никого не было из близких: кто умер, а кто разбрелся нивесть куда по степи и далее по белу свету. Поэтому старик всех людей, живших вокруг него, считал как бы немного близкими себе — взамен тех близких, что ушли и пропали.

Главная улица, начинаясь под аркой, заканчивалась у деревянного барака столовой. На ровной, утопанной площадке перед столовой, в приятной полутьме, праздно толпились люди. Теплый, словно бы пахнувший едой свет падал из окон барака, освещал переговаривавшихся людей. Некоторые из них входили в дом, иные выходили, и эта площадка, этот пятачок, где продолжались начатые внутри разговоры, был частью столовой — как мраморное фойе перед гостиничным рестораном.

У самого крыльца, спиной к коновязи, сидел на земле, поджав ноги, узбек в полосатом хорезмийском халате и в черно-белой тюбетейке. Узбек этот продавал яблоки поштучно. Он привез свой товар откуда-то снизу, из фруктовых и розовых ароматных краев — здесь, в поселке, не то что яблоки, — лук рос натужно и тяжело дышалось при быстрой ходьбе и от резких движений: высоко, мало кислорода. Яблоки узбек разложил кучками, собрав в каждую плоды примерно одинакового размера. Торговое дело нравилось узбеку он просиживал над своим товаром, ведя разговоры с прохожими людьми, с утра до позднего вечера. Редкость покупателей никогда его не удручала: кто покупает, тот платит и уходит, а кто воздерживается от покупки, тот вступает в приятный разговор.

Вот и сейчас, сидя у столовой, узбек терпеливо тянул чай из пиалки и болтал с бородачом в шубе. От нечего делать бородач стругал ветку острым перочинным ножом. Он делал это методично и вдумчиво; ажурная горка тонких стружек нежно беле-

ла у больших ног бородача.

— Двадцать пять лет торгую, — отставив пиалку в сторону, сказал узбек погруженному в строгание бородачу, — такого никогда не видал. Свадьба в столовой! Ну-ну-ну! В столовой — что? — узбек с видимым удовольствием высунул правую руку из рукава халата и широко растопырил пальцы, готовясь считать: — Чай — раз, плов — два, понимаешь, потом куурдак*, ну еще лагман*. Четыре. — Мизинец остался неотсчитанным и торчал в сторону, как нарушающий гармонию вредный отросток. Узбек глядел на свой торчащий мизинец с болью, как будто уже решил отрубить его напрочь для округления кулака, и вот заранее переживал утрату. Потом, вздохнув, добавил: — Ну, еще лепешки... — загнул и мизинец и, удовлетворенно оглядев окончательно оформленный кулак, проворно втянул руку обратно в рукав халата. — Вот какое дело.

Бородач стряхнул стружки с колен и близко огляделся, ища, что б еще постругать. Свадьба ничуть его не занимала.

— Мне-то, конечно, что? — продолжал узбек, кутаясь в халат. — Они яблоч у меня взяли ящик целый, самых крупных... Я ведь другое говорю: свадьбу надо дома играть, по закону — а не в проходном дворе, в подворотне в какой-то! Человек — собака, что ли? Женщина — тоже не кошка. Бывают, правда, похуже кошки... — узбек выжидательно покосился на бородача — что он скажет?

Бородач стругал теперь щепку, и дело шло неважно: дерево крошилось и не давало длинной стружки.

— Камень тоже молчит, — обидчиво заметил узбек. — Человек свое мнение имеет.

Подлив из термоса чаю в свою пиалу, узбек придвинул ее бородачу. Тот взял флегматично, поднес к зарослям. Тогда узбек живо придвинулся к нему — голова к голове.

— Она баба красивая, — сказал он вполголоса, — ничего не скажешь... Люди говорят, он за нее калым не платил: она, мол, весь поселок до него успела обслужить, даром что такая костлявая. Только, мол, под жеребцом и не лежала. Люди говорят... — узбек прижался к бородачеву уху, большому и глубокому, пошептал что-то и, отвалившись, засмеялся.

* Киргизские национальные блюда.

— Мне какое дело? — невозмутимо выслушав, отозвался бородач. — Кто так говорит — у того змея во рту живет. А у меня — вот! Гляди! — сунув два граненых пальца за нижнюю губу и рывком оттянув книзу челюсть, он широко разинул рот. Борода качнулась.

С любопытством и некоторою даже опаской узбек заглянул в рот бородачу — и отвернулся с разочарованием.

На площадке он не обнаружил ничего интересного и нового. Десятка три лошадей было привязано к продольному брусу коновязи, к кольям забора, к телеграфным столбам с предупреждающими дощечками "лошадей не вязать". Люди все подходили из темноты, шумно здоровались и, хлопая дверью, входили в столовую.

Саида, въехавшего на площадку, узнали сразу.

— Окажи честь, Саид-ака, войди в дом! — слышались голома.

— Что такое? — спросил Саид и орлом оглядел толпившихся на площадке.

— Кадам берет в жены Гульнару! — объяснили Саиду. — Зайди!

— Кто такой? — полюбопытствовал Саид.

— Сын Кудайназара, охотник из Алтын-Киика, — дали справку.

— А! — оживился старик, попутчик Саида, и пополз со своей лошаденки на землю. — Охотник, не охотник... Когда видишь дым над юртой — останови коня, заходи, дорогой! Твой отец так делал, и мой отец, и отцы наших отцов. А женятся они или разводятся — это уже другой разговор. Но мясо не должно переспеть!

2.

Старик сунул камчу за голенице сапога, одернул халат под солдатским ремнем и, держась поближе к значительно ступающему Саиду, вошел в столовую. Там сидело за легкими столиками на белых алюминиевых ножках человек сорок — пили, ели, курили, разговаривали, смеялись. Саида встретили криками искренней пьяной радости и потащили его, облепив, на почетное место — против двери. Старик же, едва переступив порог, проворно подался в сторону и сел поодаль, сбоку. Не все ли равно, где пристроить свой зад на час-другой? Заду это все равно, а если голова у человека беспокойная и никак ему не сидится —

так не на голове же он сидит, в конце концов! И вообще, в таком широком вопросе умным людям не следует проявлять принципиальность, тем более кормят везде одинаково, а стулья ничем не отличаются друг от друга. А дурак, посади его даже на почетное место против двери, не станет умнее за один вечер. Почетное место придумали сами дураки, но они забыли по-дурости, что с высокого кресла падать больней.

Зал столовой райпищеторга был высок, сплошь обшит квадратными фанерными щитами, окрашенными голубой масляной краской "под мрамор". Сколоченные из дранки фальшивые колонны по бокам довольно широких окон были выкрашены в золотой цвет и служили опорой для красных бархатных портьер. На одной из стен красовалась гигантская копия с известной картины "Кто кого?", писаная масляными красками местным поселковым умельцем. Умелец, правда, придал и французу с пистолетом, и русскому с сабелькой характерные монголоидные черты, но это вовсе не притупляло остроты сюжета, и догадаться, кто же, все-таки, выйдет победителем из смертельного поединка, было никак невозможно: шансы были распределены поровну.

Тесное — с тарелку — окошечко, прорубленное в стене, вело в раздаточную, на кухню. Там было тихо.

Буфет в углу зала был сегодня закрыт — гостям не было нужды покупать спиртное, потому что угощал всех Кадам, жених.

Старик со спокойным любопытством разглядывал зал и людей в зале. Кто жених, кто невеста — было ему неизвестно, и это неведение придавало остроты происходящему, как лагману — ложка дунганского уксуса. Внимание старика привлек какой-то молодой здоровяк в кепке, с литой шеей. Этот парень, встав из-за стола, прошел к окошку раздаточной и, наклонившись, громко и решительно кликнул повара.

— Эй, хозяин! — прокричал здоровяк, сунув круглую голову в окошко. — Сколько? — вытащив голову, он, не разгибаясь, оборотился к своему столу. — Шесть? — перекрикивая гул голосов в зале, он выкинул вперед руки с шестью оттопыренными пальцами. — Семь? Хозяин, семь лагманов! И пива! Пива сколько? Семь? И семь пива. Или давай восемь!

Неспеша изучив зал и сделав кое-какие прикидочные выводы, старик придвинул к себе тарелку с жарким — куурдаком. Стол перед ним был заставлен пестро и обильно, а тут еще и плов по-

несли, и стариков сосед по столу освободил место для глубокого эмалированного таза с лениво дымящимся пловом. Ломтики оранжевой морковки были вкраплены в холм янтарного от жира риса и мягко светились. Куски хорошо разваренной баранины обильно венчали рисовый холм. Плов был сварен как надо — каждая рисинка отдельно. Всякий человек мог бы пересчитать эти самые рисинки, если бы пожелал заняться таким нудным делом.

Мужчины здесь пили водку, женщины, которых было довольно много — “Бенедиктин”. Впрочем, не обязательно: каждый волен был пить, что ему вздумается. Старик, малость подумав, нацедил себе зеленого “Бенедиктина” в граненый стакан.

Самым главным украшением стола было, конечно, мясо. Лапша с мясом, суп с мясом, картошка с мясом и, наконец, бешбармак — мясная строганина с кусочками курдючного сала, — все это радовало глаз и приятно волновало желудок. Кроме разрезанных на крупные ломти буханок белого хлеба на столах то здесь, то там бронзовели островки боорсаков.

Внимательно оглядев стол — предмет за предметом — старик, наконец, выбрал, чем закусить свой ликер. Он отрезал кусок от непечатого, давно засохшего в ступья торта и попробовал не без опаски. Сладкое пришлось не по вкусу старику. Он поманил одного из детей, толкущихся здесь же, в зале, и отдал ему свой кусок. Жуя на ходу, ребенок бегом вернулся к своим сверстникам, игравшим в углу зала в бабки — костей сегодня было достаточно, и крашенный пол столовой хорошо подходил для этой игры.

Взамен торта старик выбрал добрый кусок мяса и, отхлебнув ликера, отрезал от куска и зажевал с удовольствием.

Старик хотел выпить за здоровье молодых. Зорко оглядел он нескольких молодых девушек — они были одеты в национальную одежду, двенадцать тонкозаплетенных косичек — символ девственности — свешивались с их голов. Которая из них невеста охотника Кадама? Не к лицу старому человеку задавать вопросы, как мальчишке. “Золотые брови” подсказали бы старику ответ верней верного, но запрещено почему-то теперь надевать невесте “золотые брови”, и помнят о них лишь женихи и невесты тридцатилетней давности.

— Какая красавица! — несколько заискивающе сказал старик

своему соседу, занятому разговором о видах на покос, и указал на самую молодую девушку. — Счастлив ее жених, наш хозяин.

— Это не невеста, — сообщил сосед, мельком взглянув на девушку и возвращаясь к своему собеседнику.

Старик вжал голову в плечи и сокрушенно поставил стакан на стол.

Рядом с Саид-акой, за столом для почетных гостей, старик взял на заметку того здоровяка, что требовал у повара лагман и пиво. Парень, действительно, был здоров, новый пиджак трещал на его плечах. Широкими, крупными кистями, распяленной пятерней этот парень мог бы без труда накрыть десертную тарелку. Стакан он сжимал как ствол небольшого деревца, которое вот сейчас, немедленно должно быть выдернуто из земли. Время от времени здоровяк снимал кепку и проводил рукой по коротким волосам — он был острижен как призывник. Решительный парень, сразу видно. Настоящий жених. А вот женщина рядом с ним — вроде бы вовсе и не невеста. Она единственная здесь в европейском платье, в городских туфлях. Другие отдали дань европейской моде лишь отчасти, сохранив приверженность национальной одежде — будь то расшитый жилет, мягкие сапожки или круглая шапочка с пером улара. Женщина рядом с женихом повязала голову красным шелковым платком с красными же розами по белой кайме. Она была красива, эта женщина лет двадцати пяти, с овальным, нежно смуглым, суженным книзу лицом, с гладким невысоким лбом, из-под которого пытливо и дерзко глядели ореховые глаза, узкие и длинные, как финиковые косточки. Тяжелые золотые серьги оттягивали ее хрупкие мочки, густые тонкие брови были сведены в одну полоску усьмой... Что-то не устраивало старика в этой женщине, единственной за столом для почетных гостей, и он глядел на нее из-за своего стакана с некоторым недоверием. Он и вообще-то мало в чем был уверен в жизни безоговорочно.

— Очень хорошая пара, — сказал старик своему соседу, легонько потянув его за рукав. — Он сокол поднебесья, она — смирная куропатка...

Оторвавшись от огромной пиалы с кумысом, сосед внимательно поглядел на старика.

— Ты Кадама знаешь, аксакал? — спросил сосед. — Жениха? Видел его когда-нибудь?

— Нет, — ничуть не смутился старик. — Не видел.

— Кадам — охотник, барсолов, — продолжал излагать сосед.

— Ну да, — вставил старик, с надеждой поглядывая на здоровяка в кепке.

— Это брат его, Иса, — указал сосед на здоровяка. — Просто Кадам вместе все устроил — себе свадьбу, а Исе проводы в армию. Кадам — вон он сидит.

Кадам сидел на подоконнике, близ стола — щуплый, чуть сутулый. На загорелом докрасна лице голубели глаза, из-под тубетейки выбивались темнорусые, с рыжинкой волосы. Недлинные усы были опущены кончиками книзу и скрадывали уголки выразительных тонких губ, плотно сжатых. В отличие от своих гостей, хозяин был совершенно трезв. Шумный, веселый Иса выглядел куда мужественней брата. Ему бы и быть барсоловом, а не Кадаму.

— Да-а, — неопределенно протянул старик, обмакивая мясо в соленую воду. — Правда, похожи.

— Ты что, издалека? — понимающе осведомился сосед. — Их отцы — родные братья, а они — нет. Ты что — из Иштыка?

— От разговоров пересыхает рот, дорогой сосед! — назидательно сказал старик. — Давай лучше выпьем за здоровье молодых.

Подняв стакан, старик глядел на Кадама, на красивую невесту его Гульнару. Ну, что ж: в платке — так в платке. Вон и Кадам в пиджачке, а не в халате.

Кадам сидел на подоконнике, устало сложив руки на коленях. Новые сапоги жали ему, и он поджимал и горбил пальцы, чтобы унять боль.

— Давай по сто грамм, — заранее улыбаясь собственной шутке, предложил Саид-ака. — Давай, Кадам! Барсы тебя боятся, это им по закону полагается. Пускай боится жена!

Кадам улыбнулся в ответ и промолчал.

— Он не пьет, — сказал Иса. — Давайте за невесту! — он подлил Гульнаре ликеру.

— Сегодня можно, — заявил Саид-ака. — Давай по сто грамм!

Кадам, улыбаясь все так же молча, покачал головой.

— Он потом болеет, — объяснил за Кадама Иса. — В горах не привык. Не то что мы, кзыл-суйские.

Гости выпили за Гульнару. Кадам собрал со стола пустые бутылки, отнес их к окошку раздаточной и взял там другие, пол-

ные.

— Везет непьющим, — вполголоса сказал Иса Гульнаре, ставя стакан. — Приду из армии — пить брошу, стиральную машину куплю. За сестру твою посватаюсь.

— Нет сестры-то! — засмеялась Гульнара. — Придется тебе меня отбивать.

— А что! — ерепенился подвыпивший Иса. — Раз надо — сделаем!

— Да ладно тебе! За три года забудешь, небось, как поселок наш называется... В Берлине-то! — сказала Гульнара и отвернулась от Исы.

3

На заднем дворе столовой повар ловил барана. Дробно стуча копытцами, баран короткими перебежками перемещался по двору. Повару никак не удавалось схватить шустрого барана. Устав, повар присел на ступеньку крыльца и утер лоб посудным полотенцем, заткнутым за пояс.

— Эй! — прокричал повар, тщедушный черный старик, обернувшись к двери. — Женщина да будет подспорьем мужчине в делах его, как сказано в Коране... Проклятый баран хочет сделать из меня подливку.

На крыльцо вышла повариха, пожилая русская женщина с круглым добродушным лицом, изрезанным мелкими частыми морщинками, с седыми волосами, тщательно убранными под белую косынку.

— Это особенный баран, — увлеченно продолжал повар, — клянись бородой пророка. Он не знает, что такое молоко — мать поила его водкой прямо из сосцов.

Повариха опустила на ступеньку рядом с поваром и, перев подбородок ладошкой, поглядела на барана, мирно пощипывавшего травку в углу двора.

— Ну и баран! — сочувственно сказала повариха. — Кадам пригнал его с гор.

— А я думал, Кадам пригнал его из Ташкента! — рассердился повар. — Это лев! Я убью его!

Повар решительно поднялся с крыльца и бросился к барану. Баран отбежал грациозно.

— Держи его! — закричал повар. — Молодец-дурак-умница!

Повариха, распялив на руках подол фартука, помогала повару ловить барана. Наконец, повар схватил его за рог и за шею и потащил к стене столовой. Там, на земле, уже лежали три сырые от крови шкуры.

— Ты — сурок, а я — Карим, — сказал повар барану. — Сейчас я разделюсь с тобой... Это я превратил тебя в сурка!

С этими словами повар вытянул из кармана бечевку и связал барану задние ноги с передней правой.

— Принеси тазик, женщина, — распорядился повар, опускаясь на корточки возле барана. — Кровь не должна пролиться на землю.

Повариха ушла на кухню и вернулась с небольшим медным тазиком. Передав его повару, она снова села на ступеньку крыльца.

— Чудной он все-таки, — сказала повариха раздумчиво, глядя в спину орудующего над бараном повара. — Такую ораву кормить! А зимой зубы сосать будут... Неразумный!

— Сейчас мы посмотрим, кто из нас настоящий мужчина! — веско заявил повар барану.

— Увез бы ее к себе в горы, — напевно продолжала повариха, — никто бы и не заметил, и разговоров бы не было... А то собрала весь поселок, голову платком покрыла: невеста! Вот и чешут языки, кому не лень, на его деньги гуляют — и чешут. Стыды!

— Стыдливость — достоинство невесты, — изрек повар. — Лев убивает барана, буфетчица устраивает свадьбу в столовой. Буфет не годится для свадьбы.

— С тобой что говори, что молчи! — досадливо воскликнула повариха. — Черт такой! Свадьба один раз бывает, на всю жизнь чтоб запомнить!

— Свадьба — не похороны, — назидательно заметил повар. — Похороны один раз бывают.

— А! — отмахнулась повариха. — Чтоб у тебя язык отсох!

— Без языка чай как буду пить? — поинтересовался повар, подтягивая зарезанного барана на треногу.

4.

На площадке перед столовой не прекращалось движение людей и лошадей. Столовая желто светилась изнутри, как фонарик из промасленной бумаги.

Узбек — торговец яблоками — играл с одним из Кадамовых гостей, вышедших на воздух, в три узелка. Разложив бечевку на перевернутом ящике из-под водки, узбек точными, рассчитанными движениями дергал за концы бечевы, спутанной в три незатянутых узла. Гость играл увлеченно.

— Ты проиграл! — дернув, объявил узбек. Узелок, правда, не затянулся на пальце игрока.

Гость беспрекословно отдал узбеку полтинник. Узбек небрежно бросил монету в банку из-под леденцов — там поблескивало серебро, вырученное за яблоки.

— Давай еще! — теребил узбека гость.

— Э! — воскликнул узбек. — Все равно проиграешь... — но связал узелки и разложил свой нехитрый прибор на ящике.

Проигравший гость внимательно и напряженно следил за действиями узбека. Гость очень хотел выиграть, хотя бы один раз — для самоутверждения.

Узбек закончил приготовления. Ему не хотелось играть. Азарт в этой игре присущ только одной стороне — той, что проигрывает. Куда приятней было бы потолковать о том, о сем, на интересную тему.

— Слушай, — сказал узбек, вплотную придвигаясь к гостю. — Она баба красивая... Мне один из Намангана рассказывал... — наклонившись к уху гостя, он прошептал то, что рассказал ему наманганец, и засмеялся.

Послушав узбека, гость тоже засмеялся — за компанию, а, может, из уважения к собеседнику.

— Был у меня один знакомый, — насмеявшись, сказал гость, — так, знаешь, он пришел водку брать, — гость кивнул через плечо в сторону столовой, — и прямо в буфете, на прилавке... — тут уж гость не выдержал и, закинув голову, как гигантский петух, зашелся странным смехом — только отрывистое бульканье и какой-то костяной скрежет доносились из его судорожно дергавшегося горла. Загоготал и узбек, хлопая себя по ляжкам.

— Ну, давай, — сказал узбек, немного успокоившись. — Ставь.

Гость, задумавшись на миг, с опаской опустил палец в одну из петелок. Узбек коротко и резко дернул за концы бечевки.

— Проиграл! — озадачился гость. — Что такое, честное слово... Идем выпьем — свадьба, все-таки!

— Не пойду я, — сказал узбек. — Товар весь растащут... Будь другом, принеси оттуда бутылку и закусить чего-нибудь.

5.

В зале столовой молодой парень в белом войлочном колпаке с черной бархатной оторочкой бренчал на комузе и пел, в другом углу русский развернул гармонь на коленях, играл. Одни слушали киргиза, музыкально рассказывавшего о подвигах богатыря Манаса, иные — русского.

— На горе стоит точило, — пел русский, —

Под горой — тачанка.

Я — чапаевский боец...

Старик, попутчик Саид-аки, строгал мясо для бешбармака. Он делал свое дело с чувством собственного достоинства, торжественно. Ни манасчи, ни русской со своим точилом не были ему конкурентами: от них отодвигались, гремя стульями, оборачивались к старику и глядели на его работу. Разве что заклинатель змей, появившись он сейчас здесь в чалме и с дудкой, мог бы перебить его успех. Старик отлично знал, что никто в зале не умеет строгать мясо лучше его. Переступив порог столовой, он терпеливо ждал своего часа — и вот час этот настал. Держа значительный кусок вареного мяса, оправленного нежным жирком, левою рукой, демонстративно отставленной, старик колдовал над ним натаченным до остроты бритвы ножом, надежно зажатым в правой руке. Делая быстрые, словно бы небрежные, а на самом деле точно рассчитанные движения, старик снимал с куска мяса тонкую, длинную стружку. Малейший просчет мог стоить старику пальца: широкий клинок, лоснящийся от бараньего сала, легко дошел бы до кости. Но старик, наконец-то сделавшийся центром внимания, рисковал с шиком. Он почти и не глядел на свои руки — а так, торжествующе-небрежно поглядывал по сторонам. Зрители, потрясенные великолепным умением старика, наблюдали за ним молча и восторженно.

Кадам сидел на подоконнике, глядел на своих гостей. В кургузом пиджачке и новых вонючих сапогах он не выглядел чужим в этом битком набитом зале, но и хозяина в нем трудно было признать. Вначале к нему подходили, поздравляли его — а теперь сы

тые люди вовсе о нем позабыли. Он — виновник торжества — отодвинулся на задний план, на подоконник, и это устраивало всех: гости чувствовали себя свободно, независимо от причины праздника... Жених Кадам никак не выделялся из толпы: на других подоконниках тоже сидели какие-то люди, болтали ногами.

Пиршество, между тем, вступило в ту стадию, когда каждый поет и веселится сам по себе. Кадам устал, он хотел вытянуться на кошке у очага, хотел спать. Он не привык к такому обилию людей. Но он был рад, что гостям весело на его свадьбе.

Прищурившись, глядел он в шевелящийся, тяжело плывущий в сером папиросном дыму зал. Ему вдруг почудилось, что все эти спины, лица, затылки и руки принадлежат одному огромному, медленно копошащемуся существу, неведомо как втиснувшегося в комнату. Это отвратительное существо исторгало низкий монотонный гул, и отдельных слов нельзя было различить в этом гуле... Видение было противоестественным и страшным, и Кадам, тряхнув головой, прогнал его.

Сойдя с подоконника, спеша, он пробился сквозь толпу к двери. Никто не обратил внимания на его уход. После прокуренной дымоты и отталкивающего копошенья людской туши уличная тишина показалась ему родной до приятного першения в горле.

— Ай, Кадам! — приветливо окликнул его узбек. — Иди, сыграем!

Кадам подошел, послушно опустил палец в петлю. Узбек дернул за концы бечевки. Кадам проиграл и молча достал полтинник.

— Не повезло! — сказал узбек соболезнующе и протянул Кадаму пиалу с чаем. Кадам принял пиалу и отхлебнул глоток. Он смотрел на узбека доброжелательно — тот был один, вне толпы с ее общим движением, был понятен и прост: кочующий узбек, торговец яблоками.

— Хочу поздравить тебя, Кадам, от всего сердца, — продолжал узбек. — Что люди говорят — ты на это внимания не обращай: на то человеку голова дана, чтоб говорил... Ты, конечно, не обижайся — жить-то где будете?

— Ты сам откуда? — поставив пиалу на ящик, спросил Кадам. От резкого движения чай пролился из пиалы, залил руку Кадама. Он вытер руку полкой пиджака. — Откуда приехал?

— Из Намангана я, — сообщил узбек. — Наманган — знаешь?

— Убирайся отсюда, — не повышая голоса, сказал Кадам. Глаза его сузились, оледенели — и узбек вдруг почувствовал противный

царапающий холод. — Убирайся — а то тебе сейчас нечем будет говорить!

— Черт дикий! — едва слышно пробормотал узбек, поспешно швыряя яблоки в ящик, пересыпая мелочь из коробки в карман штанов. — В отца пошел, разбойник!

Кадам отошел, не оглядываясь.

— Интересно, ей-Богу! — сказал узбек и взвалил ящик с яблоками на плечо.

6.

Столовая гудела, как мотор; гул вырывался из открытых окон и улетал в немые ночные пространства... Обойдя гудящий дом, Кадам прошел на задний двор и поднялся в кухню. Там повар с поварихой, положив разрубленного на куски барана в казан, пили чай с сахаром. Кадам подсел к ним, и повар налил ему чаю из большого зеленого чайника.

— Народу много, — сказал Кадам и, разъясняя, кивнул в сторону окошка раздаточной, ведущего в зал. — Не привык я.

— Отдыхай, Кадам! — приветливо сказала повариха и придвинула к нему глубокую тарелку с жарким.

Кадам обмакнул хлеб в густую коричневую подливу, сунул кусок в рот.

— Я ведь тебя и поздравить не успела: народу-то сколько! — сказала повариха. — Чтоб у тебя все хорошо было, честное слово!

— Спасибо тебе, — сказал Кадам.

— Даст Бог, все у вас будет, как у людей, — продолжала повариха. — Свадьба-то какая! А что люди болтают — ну их совсем, будь они неладны.

— Язык женщины подобен хвосту барана, — изрек повар, — оба трясутся без пользы. Так сказал Али, зять пророка... Замолчи, наконец! — закричал он поварихе. — Твои мозги пожрали орлы!

— Ты молчи! — безбоязненно огрызнулась повариха. — Бессовестный человек.

Кадам молча улыбался, глядя в свою тарелку. Ему было покойно сидеть здесь, в кухне, и никуда не хотелось отсюда двигаться.

— Я тебе, конечно, не указка, — продолжала повариха, — но ей

ведь там тоже не сладко будет, у тебя в горах. Ни ларька, ни магазина. Спички нужны — садись на лошадь, езжай к нам в Кызыл-Су, если соседи не выручат. Да и соседи у тебя — упаси Господь и помилуй. Гульмамад один чего стоит! Зря ему, что ли, туристы по рублю платят — лишь бы сняться с ним на фото. Дома они, небось, детей пугают твоим Гульмамадом. А Лейла его. От нее и в праздник доброго слова не дождешься.

Повар внезапно приуныл. Видно, и на него подействовали доводы поварихи.

— Она горя не видала, — продолжала причитать повариха. — Нежный она человек, за ней уход нужен... А в горах, сам знаешь, какой уход? Вари да стирай, стирай да вари. Так вся жизнь и катится.

Полуприкрыв глаза, повар слушал повариху и раздумчиво покачивал головой, как птица.

— А я бы здесь жить не стал, — вычищая тарелку хлебной коркой, сказал Кадам. — Шумно очень, и воздух плохой: машины.

— Сколько их, машин-то! — не согласилась повариха. — Раз два, и обчелся. Зато школа есть, и больница, если что...

— Кадам прав, — решил повар, выйдя из задумчивости. — На свежем воздухе умирать приятней. А в больнице — вонь одна.

— У нас хорошо в Алтын-Киике, — сказал Кадам. — Людей немного, зато плохих нет: все свои... Я на тот год новую кибитку поставлю.

— Деньги в карты, что ли, выиграешь? — поинтересовалась повариха. — Как без денег-то строить?

— Дом за деньги нельзя покупать, — объяснил Кадам. — Дом самому строить надо. Мы с Гульнарой кирпичи наделаем...

— Да какие там кирпичи! — махнула рукой, прервала его повариха. — Гуля твоя не то что кирпичи — лепешку испечь не знает как!

— Эй, хозяин! — донесся из окошка раздаточной зычный голос Исы. — Где хозяин, слушай! Эй, слушай, хозяин, давай две бутылки и плов, плов давай!

Повар, оторвавшись от пиалы, вопросительно взглянул на Кадама — нести ли? Кадам кивнул головой — давай, мол, повар, неси, что велят.

Повар, прихватив бутылки из ящика, вышел в раздаточную и загремел там тазом для плова.

Повариха выплеснула остатки холодного чая из пиалы Када-

ма и налила ему свежего, горячего. Потом, вздохнув, подлила и себе.

Отгрызая от куска сахара, Кадам медленно потягивал чай.

Так они пили, а потом повар к ним присоединился, и они сидели долго.

7.

Из Кзыл-Су выехали поздно, в девятом часу — впереди Кадам на своем жеребце, за ним Гульнера на крепком, с широкой спиной мерине. Кадам не гнал: Гульнаре без привычки нелегко приходилось в седле, да и спешить было некуда. Вот они и ехали неспеша, шагом — такие маленькие в огромном светлом ущелье! Ледяной ветер их встречал, солнечный ветер с Великого ледника, и Кадаму хотелось петь песню, и он пел бы, если б был один. Но ему неловко было петь при Гульнаре, почти незнакомой ему женщине — он думал, что петь он не умеет и что его пение будет ей неприятно.

Тропа подымалась по левому склону. Чем выше — тем жиже становилась трава, тем чаще попадались земляные бугорки меж камней, поросшие упрямой жесткой зеленью. Под этими бугорками, как бы в сухих чистых могилах, жили красные сурки.

Стучали подковы Кадамова жеребца, не празднично и не звонко — по-рабочему: метал о камень. Дикий и прекрасный клич чабана, настораживающий, заставляющий оглядываться в тревоге — клич этот, состоящий из одних гласных звуков, широко разносился по ущелью.

Они остановились отдохнуть у Большого камня. Тропа проходила по плоской вершине этого камня, этой монолитной скалы, вросшей в крутой склон. На гладкой площадке, обрывавшейся в пропасть, видны были следы свежих и давних костров, желтели пятна расклеванного птицами конского навоза. Ничто, казалось, не могло сдвинуть эту глыбу с места — как торчала она здесь от начала времен, так и торчать ей до скончания века, — казалось случайному всаднику.

Но немного случайных всадников заворачивало коней в это ущелье. А местные люди называли камень — Кудайназаров камень.

— Держи! — Кадам протянул Гульнаре кусок мяса на лепешке и полголовки лука. — Устала?

— Все тело болит, — сказала Гульнара. — Долго еще?

— Скоро приедем. — Кадам потер пальцами покрасневшие от ветра глаза. — Смотри, какой ветер! Чистый!

— Холодно очень, — пожаловалась Гульнара. — Прямо всю душу выдувает... В кишлаке у тебя тоже так дует?

— В Алтын-Киике тихо, — сказал Кадам. — Ветер поверху идет, а у нас тихо. Дров много, кибитки теплые.

— Саксаулом топите? — спросила Гульнара.

— Саксаулом, арчой, — сказал Кадам. — Тепло будет.

Скорей бы, захотела Гульнара, скорей бы. Тесная вонючая кибитка, теплая. Разводить огонь, кипятить воду для чая. Варить. Стирать. Латать штаны этому человеку, Кадаму — то ли странно доброму, то ли вовсе сумасшедшему, такому доброму и сумасшедшему, что взял ее, буфетчицу Гульнару, в жены. Ждать его с охоты, стягивать с него сапоги. Рожать ему детей в его вонючей теплой кибитке. Скорей бы.

— Поехали! — позвал Кадам. — Ветер хороший, просто ты не привыкла еще...

Скорей бы привыкнуть.

На гребне перевала, у края спуска, они остановились еще раз.

— Мой кишлак, — сказал Кадам. — Видишь? Во-он он!

Пять-шесть домиков, пять-шесть точек белели глубоко внизу, в арчатнике. Сверху арчатник казался плоским, как лепешка. Сразу за арчатником открывалось сухое русло реки, широкое, стального цвета, а за ним, на том берегу, мощно вздымались из земли, из недр ее, три горы, почти во всем похожие друг на друга; только ледяные их плечи и головы светились и сверкали поразному.

— Это наша кибитка, — сказал Кадам. — Самая крайняя, видишь? Мы построим новую, большую — там, где стоял дом моего отца.

— Его снесло рекой? — спросила Гульнара, с опаской и любопытством заглядывая в обрыв.

— Разрушили русские... — сказал Кадам. — А вон кибитка Гульмамада — он собирает целебную траву и убивает сурков.

— А люди-то у вас там бывают? — перебила Гульнара. — Ну, приезжает кто-нибудь? В гости, или так?

— Туристы бывают, — сказал Кадам. — Летом. Еще альпинисты.

Гульнара глядела в обрыв задумчиво.

— Зимовщики есть, — вспомнил Кадам. — На леднике живут, на станции. Дикие люди.

— Почему дикие? — обернулась Гульнара. — Русские, что ли?

— Русские, — подтвердил Кадам. — Они целый год там сидят, на станции — вот и дичают. Скучно им там сидеть. К ним на зимовку два дня надо подыматься, на ледник. Там один лед — ничего нет. Дальше Китай будет, Афганистан. Далеко!.. А один их у нас живет, Зотов. Склад у него: консервы, ватники.

— Торгует, что ли? — уточнила Гульнара.

— Нет, — сказал Кадам. — Для своих держит, для зимовки. У него там радио есть, вот только с батарейками плохо: трудно достать.

— Да, трудно с батарейками, — вздохнула Гульнара. — В городе — и то не всегда возмешь.

Кадам тронул повод и поехал по краю обрыва, отыскивая тропку для спуска.

8.

Медленно проезжали они мимо кибиток кишлака — впереди Кадам, за ним Гульнара. Кишлячные люди вроде бы и не нарочно, вроде бы и не на посмотри вышли из своих домов — а как бы по случайному вечернему делу: кто колол дрова, а кто и просто посасывал насвай, сидя на корточках и прислонившись спиной к глинобитной стене кибитки. На проезжающих они взглядывали мельком — не их, мол, дело, нечего глаза пялить, Кадам сам познакомит, когда надо будет, — но вслед им глядели открыто и долго: вот она, значит, какая — Кадамова жена, городская невеста. Любопытно, очень даже любопытно! Целый день ждали, только об этом говорили — и вот, наконец, приехала. Дай ей Бог! А любопытство проявлять не надо, нельзя. Это дикие русские, жрущие свиное сало, лезут всегда, куда их не зовут, цепляются, выспрашивают. Благословен тот, кто родился киргизом и вырос на мясе и на кобыльем молоке.

Гульмамадова жена Лейла оторвалась от работы — она плела шерстяные шнуры для крепления юрты — и глядела, пожалуй, слишком пристально. Тихий Гульмамад, знаток приличий, одер-

нул ее:

— Возьми себя в руки, женщина! Твоя дочь берет с тебя пример.

Пятнадцатилетняя Айша, разбиравшая цветные нитки для матери, услышала отцовские слова и поспешно опустила глаза. Ее брат Джура, тощий и большеголовый подросток, глядел на Кадамова жеребца, и это не вызывало возражений со стороны тактичного Гульмамада.

А вот с матерью Гульмамада — древней старухой, кульком сидевшей на земле — ничего нельзя было поделаться. Она глядела на проезжавших не скрываясь, не мигая. Она хотела глядеть — и глядела. Ей уже незачем было скрывать свои чувства и желания: ее возраст, внушавший удивление людям, давал ей это право... На спекшемся, неподвижном лице старухи ясные глаза светились младенческим любопытством. Она, казалось, собиралась что-то спросить, указать на Гульнару сухонькой птичьей лапкой и спросить что-то — но Гульмамад, безразлично смотревший в сторону, хранил спокойствие: старуха вот уже много лет не произносила ни слова.

— Городская, — сказала Лейла, не отрываясь от работы. — Трудно ей будет, а?

— Ты зачем, я зачем? — не глядя на всадников, откликнулся Гульмамад. — Айша ей поможет...

Айша, словно бы не слыша, сердито трясла нитки.

— Куда, куда! — вполголоса остановила ее мать. — Не успеваю я...

Расправляя шнур узловатыми коричневыми пальцами, Лейла мельком взглянула на подъезжающих. Слабый ветер шевелил ее редкие сероседые волосы; она заправила их под косынку, запахнула вытертый чапан на плоской костлявой груди.

— Нитки давай! — ворчливо сказала она дочери. — Ишь, сидит, как невеста...

Кадам и Гульнара поравнялись тем временем с домиком Гульмамада. Поймав взгляд Лейлы, Кадам кивнул без улыбки.

— Красивая, — сухо заметила Лейла, глядя вслед проехавшим. — Плащ-то габардиновый, китайский.

— Худая только, — вынес свое суждение Гульмамад. — Городская — а тоже худая. Совсем жиру нет!

— Кто этот страшный старик? — сдавленно спросила Гульнара, нагнав Кадама. — У него красная борода!

— Он красит, — объяснил Кадам. — Так ему нравится... Почему страшный? Это ты просто не привыкла.

— Поскорей бы привыкнуть... — поежилась Гульнара. — А же-на его, кажется, была красивая когда-то.

— Да, — подумав, согласился Кадам. — Когда-то она была красивая.

Они подъехали к кибитке Кадама — низкому саманному сараю с плетенной из прутьев крышей, обмазанной глиной. Кадам спешился и, помогая Гульнаре слезть, придержал ей стремя.

9.

За стенами Кадамовской кибитки ревел ночной ветер, мчался, как по коридору, по глубокому ущелью. Он срывался вместе со снежной поземкой с высокогорных ледяных плато и мчался, набирая скорость, вниз в виноградные долины Таджикистана, в миндальные леса Ферганы. Там, внизу, он вбирал в себя запахи человеческой еды и человеческих эскриментов, пыль дорог и мусор базаров, он нагревался и изнеживался, терял скорость и подыхал на берегах мутных рек.

Нищие кибитки высокогорья не знали его немощи.

— Послушай, как гудит-то! — сказала Гульнара, поежившись.

Она уже приготовила постель на кошке, и теперь раздевалась, аккуратно складывая одежду на фанерный ящик из-под сухарей. Сидя в углу, Кадам молча и жадно наблюдал за ее занятием.

Стоя спиной к Кадаму, она отстегнула чулки от пояса и, скатывая их с ног, с досадой обнаружила, что, зацепившись за пряжку седла, один чулок порвался неисправимо. Потом она сняла жакетку, стянула через голову юбку и сложила ее. Шелковая комбинация не грела, но остаться без нее было еще хуже. Переступая голыми ногами по холодной кошке, Гульнара повернулась к Кадаму.

— Все снимать? — спросила Гульнара, по одной вынимая шпильки из волос.

Кадам не ответил. Рывком, пружинисто поднялся он с пола, шагнул к очагу. Схватил угревшегося у низкого огня круглогла-

— Еще я думаю, что завтра мне идти на охоту. Мяса нет. Козлы высоко поднялись. Слышишь, как дует?

— Ты правда об этом сейчас думаешь? — приподнявшись на локте, удивленно и обиженно спросила Гульнара.

— Да, — сказал Кадам. — Ты ведь спросила... — И, помолчав, добавил: — Я буду делать как надо. Мы назовем его Кудайназар.

10.

Кадам уехал на охоту засветло. Он не стал будить Гульнару, подумал и не стал. Вскипятил себе чаю, пожевал сухую лепешку — вот и весь завтрак. Пусть спит Гульнара. Ей придется еще поработать немало.

Кутаясь в истрепанный ватник — рассветы в горах холодны — Кадам поднялся в гору по узкой крутой тропе. Подъем был тяжел, и жеребцу приходилось туго — шея его была натужно вытянута вперед, напряжена, под пластами перекачивающихся мышц ходили лопатки.

То опережая всадника, то отставая, бежала собака Кадама — высокий остромордый пес, натасканный на диких козлов. На извиве тропы собака остановилась как вкопанная и, оглянувшись на хозяина, села.

Склон с тропой был занят, залит ячьим стадом. Полсотни приземистых черных животных, полудиких, с наискось вбитыми в массивный череп рогами, злобно похрюкивая, усталились на всадника. Вожак стада — великолепный бык с короткими, мощными ногами — выскочил вперед и, преграждая человеку путь, встал на тропе. Стадо волновалось, теснилось за своим вожаком.

Кадамов жеребец присел на задние ноги и остановился. Он боялся этих мрачных зверей, скалился, прижимал уши. Кадам потрепал его по шее и, легко соскочив с седла, двинулся вверх по тропе. Поджав под брюхо длинный тонкий хвост, собака неохотно плелась за хозяином. Несколько шагов недоходя до вожака, она остановилась и стояла, повизгивая.

А Кадам, обойдя быка, вошел в стадо, как в черную бурлящую воду. Животные подозрительно обнюхивали его, тыкались тяжелыми мордами в его грудь и спину.

— Ну, что? — как бы увещевал Кадам, то ли сам выбиравший себе дорогу, то ли подчинявшийся пинкам. — Что стоите? Боитесь? Свой я, свой! Иду, куда мне надо — и вы идите. Чох! Вот так, вот так... — он подошел к старой, крупной телке и, подняв руку, с осторожностью положил ладонь на ее костистый лоб, чуть пониже основания рогов. — Ты чья? Абдумамуна, что ли? Ну, иди, иди! — он легонько толкнул телку — плечом в плечо, а потом, сдвинув с места, шлепнул ее по крупу. Телка тяжело повернулась и, мотая головой, сошла с тропы. Обходя Кадама, яки двинулись за ней. Проследив движение стада, с достоинством полез в гору и вожак.

Кадам вернулся к коню, сел в седло. Повеселевшая собака прыгала у стремени и заискивающе глядела на Кадама, прося прощения за свою трусость.

Ущелье расширилось, постепенно перешло в плоскогорье. Неширокий ручей, сверкающий, словно бы выложенный из кусочков стекла, наотмашь перечеркивал плечо плоскогорья.

— Я поднимусь высоко в горы, — пел Кадам, подъезжая к ручью, прозрачному как воздух, —
Я догоню большого киика.

Ему столько лет, сколько колец на его рогах.

Как этот киик, будет силен Кудайназар —

Только никто не сумеет его догнать.

Будущий Кудайназар представлялся Кадаму пятилетним мальчиком в аккуратно подогнанном ватничке и сапожках, с которым можно было уже потолковать о разных интересных вещах, или даже поехать охотиться на кииков. Вот так и поехать: с собакой, по ущелью, в одном седле. Пускай мальчик поучится тому, чего он в школе не узнает. До школы еще два года, за это время многому можно научить. А потом увезут его в Кызыл-Су, в интернат. Чему они там учат детей? Что русские — старшие братья и лучшие друзья киргизов, что Бога нет, что дважды два — четыре... И не отпустить нельзя: посадят. Вон, Джума из Ак-Мазара сына не пустил — так ему три года тюрьмы дали: нарушил закон о всеобщем народном образовании. А ребенка все равно увезли в райцентр, в интернат. Что это за место для ребенка, если есть у него отец, и мать, и дом!

Кудайназар займет свое место на земле, — пел Кадам, —

И никто не сумеет отнять у него это место.

А большого киика я все равно догоню,

И будет мясо в моей кибитке.

Будет мясо, конечно, будет. Гульнара будет пить мясной отвар каждый день — это надо, это очень важно для будущего Кудайназара. Киичье мясо — целебное: на высокогорных полянах пасутся козлы, их жир пропитан ароматом снежных цветов бетэге, — и жирный отвар пахнет цветами и травами... Раздумывая над предстоящей охотой и над более отдаленным будущим, Кадам почти забыл об утомительной свадебной толкотне в Кызл-Суйской столовой. Миновала первая легкая и короткая ночь надежды, и вот теперь, подымаясь в горы, Кадам праздновал ее приход. Легким, как она, был этот час подъема, легким и праздничным. Той ночью Кадам обнимал Гульнару с надеждой и радостью, а теперь пришло время праздновать. В гремящей столовой Кадам радовался за других: вкусен плов, вдоволь водки для гостей. Сейчас, подымаясь, он испытывал радость сам, он щедро делился ею — без водки и плова — с деревьями и кустами горы, с сурками, со своим конем. Яки были участниками его праздника, яки и ручей и деревья. Им пел радующийся Кадам о будущем Кудайназаре. Ему бы в голову не пришло петь повару с поварихой или торговцу яблоками из Намангана.

Подымаясь все выше, становясь все меньше среди голых каменных скал, царапающих нежную кожу неба, Кадам остановил коня в Волчьей Щели. Чабаны пригоняли сюда скот в зимнее время: снег не держался здесь подолгу. стаивал, обнажая жухлую травку. Волков в окрестных камнях было множество, и, спасая теплые отары от расправы, люди в незапамятные времена окружили Щель громоздкими каменными истуканами — прямоугольными, в два человеческих роста, глыбами с каменными же кругляками вместо голов. Каменные руки — одна, две или три — торчали из животов, к рукам были привязаны тяжелые биты, болтавшиеся на ремешках... Ветер раскачивал биты, ударял ими о фигуры истуканов, и глухой каменный перестук отпугивал хищников. Вся Волчья Щель, словно оркестровая яма, была полна этим тревожным сухим стуком, слитым с воем сквозного ветра.

Сидя в седле, Кадам внимательно слушал эту волчью музыку. Русский парень в Кызл-Су, на свадьбе, тоже играл неплохо на своей гармошке, красиво играл и пел про каких-то чужих лю-

дей. А здесь, в Щели, все знакомо и понятно: Ветер рвется в ворота ущелья, Овцы толпятся в тупике страха, Волки воют, Охотник крадется... Это понятно даже собаке — она поджимает хвост, рычит. И волнуется жеребец, косится по сторонам.

Овцы в тесном тупике. Надо прикрыть их и красться вверх по щели -- там волчья стая, там лобастый вожак с золотыми глазами. То ли биты стучат, то ли клацают волки зубами... Кадам соскользнул с седла и, вслушиваясь в каменный перестук, подчиняясь ему, двинулся, танцуя, от истукана к истукану, раскачивал биты в их торчащих руках. То, вдруг останавливаясь, прижимал согнутые в локтях руки к животу, — и окаменевал в ряду истуканов. Конь настороженно наблюдал за его действиями, и собака следила. А, может, и поболее было здесь зрителей: глядели низкие кусты, и голые горы, и небо, казалось, чуть снизилось, разгадывая Кадаму, снизилось и замерцало прозрачным синим камнем.

Кадам вглядывался в следы на земле, кружился, крался. Взмахивал руками, взмывал. Падал ничком и полз. Нелегко выследить волка, нелегко... Но вот он выпрямился, прыгнул, вскинул к плечу воображаемую винтовку. Выстрелил! Еще!

То ли это ветер, то ли воет раненый волк, роняя розовую пену из пасти.

Красиво танцевал Кадам. На настоящей охоте все это делается куда проще.

11

С самого утра Гульмамад был собран и немного даже торжественен. Двинулся он по тесной комнате стремительно и как бы по заранее намеченному маршруту, и без нужды передвигал и переставлял вещи с места на место: перевесил шапку с гвоздя на другой гвоздь, потом, кряхтя, переволок мешок картошки от дальней стены кладовки к окну. Лейла, не находившая в действиях Гульмамада никакого смысла, глядела на него укоризненно. Только когда он потащил казан с остатками вчерашнего супа, Лейла проворно поднялась с пола, отпихнула мужа и водворила тяжелый казан на место.

— Хватит дурака-то валять! — уже вслух укорила Лейла. — Жениться, что ли, хочешь?

Гульмамад ничего не ответил жене, как будто пихнула его не женщина, а лошадь. Наведя порядок в доме, он с сомнением оглядел водворенный казан и вышел за порог. Определив, что солнце освещает его двор достаточно ярко, Гульмамад вытащил из-за пазухи серебряное полированное зеркальце в медной резной рамке и, идя вдоль забора, несколько раз прикидочно приложил его к глиняной поверхности: повыше, пониже. Отыскав подходящее место, он заколотил камнем длинный гвоздь и повесил зеркальце на забор. Из медной рамки глядел на Гульмамада наредкость морщинистый старик с серой бородой в бурых пятнах.

— Эй, Айша! — не оборачиваясь, позвал Гульмамад.

Следом за дочерью из дома вышла и Лейла, и села на порожек.

— Принеси ящик, — велел Гульмамад, — сама знаешь, какой. Красильный.

Айша, и верно, знала. Знала и Лейла, и подросток Джура — младший сын. Вся семья с самого утра знала, что Гульмамад собирается красить бороду. Ничего нового не было в этой процедуре, повторявшейся регулярно, раз в месяц, вот уже много лет подряд.

Красильный ящик оказался картонной коробкой из-под конфет "ландрин", надежно перевязанной крепкой черной веревкой из ячьего волоса. Распутав узлы, Гульмамад извлек из коробки несколько глиняных баночек, украшенную резьбой деревянную ступку с пестиком, клочок серой ваты и мешок с корнями одному ему ведомых диких трав. Покопавшись в мешочке, Гульмамад наощупь выудил оттуда пяток корешков и бросил их в ступку.

— Три! — сурово указал он Айше.

— Ишь, какой командир! — вполголоса прокомментировала Лейла с порожка. — Лучше б с Кадамом поехал, мяса бы привез...

Гульмамад придирчиво рассматривал бороду в зеркальце и не обратил на слова жены никакого внимания, как будто мимо пролетела с песней никчемная в хозяйстве птица.

— Три, три! — повторил он, поймав в зеркале отражение Айши со ступкой.

— Тру я, — откликнулась Айша, сцеживая сок в глиняную ба-

ночку.

— Три, а не бей! — внес поправку Гутьмамад.

Разбавив сок водой, он смочил им ватку и быстрыми движениями стал пропускать сквозь нее редкие волосы бороды.

— Еще давай! — потребовал он, обернув бороду ватой.

— Погода портится, — глядя на перевал, сказала Айша.

— Не мешай, — посуровел Гутьмамад. — Смотри в ступку.

— Я смотрю, — сказала Айша. — Кадам не вернулся еще.

Гутьмамад скривил лицо и задышал часто и шумно.

— А Гутьнара эта здесь не уживется, — сообщила Лейла с порога. — Она в Кыл-Су на мотоцикле ездила, в люльке. Я сама видала.

— Не мешайте! — хриплым голосом предостерег Гутьмамад. Айша склонилась над ступкой, застучала пестиком.

— Кадам такой счастливый... — жалобно сказала Айша.

— Эй! — крикнул Гутьмамад, держа бороду, обернутую ватой, в коричневом кулаке. — Что ты заладила?! Сказал тебе — не мешай!

Айша замолчала, застучала пестиком с вызовом.

— Что стучишь? — сердито обернулся к дочери Гутьмамад. — Это тебе молоток, что ли? Зачем портишь? Сказано тебе — три...

— А ты не ори, — заступилась за дочку Лейла. — Хотя ты бороду золотом покрась, все равно умней не станешь... Зачем Кадаму городская жена?

Собака Гутьмамада сорвалась с места, убежала с ворчанием. По тропе, ведущей к кишлаку, ехал Кадам. К крупу его коня была приторочена обезглавленная туша киика.

В туче пыли собака Гутьмамада сцепилась с Кадамовым псом. Криком и камчой Кадам развел собак.

Потревоженный Гутьмамад стянул ватный чехлик с бороды и глядел теперь на подъезжавшего Кадама.

— Красишь? — спросил Кадам, рассматривая пунцовую бороду Гутьмамада. — Хорошо вышло... Джура где?

Айша живо вскочила с земли, бросилась в дом за братом и вернулась вместе с ним. Джура вопросительно, с любопытством уставился на Кадама.

Кадам достал из-за пазухи живую куропатку — кекелика и, нагнувшись с седла, протянул птицу мальчику. Благодарно взглянув на Кадама, Джура молча принял подарок и отошел. Айша

осталась стоять возле коня.

Кадам сунул руку в карман, потом в другой — нет, ничего у него не было для дочери Гульмамада.

— Зайди попозже, Айша, — сказал Кадам. — Я вам мяса отрежу.

Айша стояла, смотрела вслед Кадаму.

— Ну, чего уставилась! — прикрикнул Гульмамад. — Краску давай!

12.

Много времени прошло — год, а, может, и все полтора. Никто не считает дни в Алтын-Киике: прошло время — и слава Богу. Аллах ведет счет времени, и не следует людям вмешиваться не в свое дело.

Пролетевшее время не задело Алтын-Киика ни крылом своим, ни дыханьем. Никто здесь не умер и никто не родился на свет. Никто не построил новый дом и никому не пришлось в голову посадить дерево в землю. Один русский турист утонул в реке, но это событие не задержалось в памяти кишлачных людей: о нем поговорили день-другой и забыли навсегда.

И в доме Кадама не произошло сколько-нибудь заметных перемен. К удовлетворению соседей Гульнара, правда, переменяла одежду с городской на деревенскую, национальную: она ходила теперь в длинном ситцевом платье и в шароварах, заправленных в голенища мягких сапожек. В таком виде она таскала воду из арыка, стирала и готовила пищу.

Она готовила в тупике коридора, на огне открытого очага. Распяленные, чуткие пальцы огня, словно бы малую пиалу, держали круглое днище тяжелого чугунного казана, подвешенного на треноге. Кадам любил наблюдать за тем, как готовит Гульнара. Благодарно глядел он на работу женщины, колдававшей над домашним огнем: Пища рождалась на его глазах, сытная и вкусная Пища, дающая силы жизни... Он и сам умел испечь лепешку и зажарить мясо на костре, чтобы съесть Пищу и не умереть. Но он был уверен, что почетное это право приготовления Пищи принадлежит женщине, хозяйке.

— Как там Иса? — помешивая в казане деревянной ложкой на

длинном черенке, спросила Гульнара. — Что пишет?

Кадам неспеша вытащил из кармана почтовый конверт, расправил на колене письмо.

— Я теперь ефрейтор, — не без труда, по слогам читал Кадам. — Немцы мне нравятся, они хозяйственные люди. Берлин красивый город, почти любой товар можно купить без очереди. Передавай привет Кадаму. Иса”.

— Что это он тебе пишет? — заглядывая в конверт, спросил Кадам. — “Привет Кадаму...” Вот, фотографию прислал.

— Дай, — протянула руку Гульнара. — Мне же...

На фоне памятника советским воинам в Берлине Иса выглядел браво.

— Смотри какой... — сказала Гульнара, вглядываясь. — И площадь вся каменная.

— Сапоги не носят там, — заметил Кадам. — Сухо, наверно.

— Сапоги! — распевно повторила Гульнара. — Какие там сапоги...

История третья

К О Н Е Ц

1.

В кают-компании пахло разогретой тушонкой. Сладкий аромат горячего консервированного мяса, бивший вместе с паром из-под крышки большой сковороды, напрочь забивал устоявшийся в этой комнате запах керосина, мышей и хозяйственного мыла.

— Лучка бы... — мечтательно жмурясь, сказал радист-наблюдатель Андрей Ефимкин.

Трое зимовщиков гидрометеостанции "Ледник" любили помечтать — о луке, о бабе, о бутылке водки. Неприятность заключалась в том, что вот уже полгода, как, отделенные от живой земли шестьюдесятью километрами мертвого льда, они мечтали каждый о своем в одно и то же время, и получался у них досадный разнобой, ведущий к ссоре.

— Лучка... — передразнил Ефимкина второй радист Жамкин Степан. — Жид ты, что ли, в самом деле? Заладил, как патефон: лук да лук... Я бы сейчас за бутылку водки что хочешь отдал, под тушонку.

— Жиды чеснок уважают, — степенно возразил Ефимкин. — А ты, если не знаешь, то не лезь суконным рылом... Сам ты жид!

— Я-то русский — и по паспорту, и по отделу кадров, — нашелся Жамкин. — А ты чучмечку вшивую драл в кишлаке. Я, как русский человек, лучше бы хрен себе топором отрубил!

— Руби, — дал свое согласие Ефимкин. — У ей, между прочим, все хозяйство на месте. Я этих баб перевалил — ой-ей-ей! И татарка была, и узбечка, и даже еврейка одна была, не говоря уже про наших. Все одинаковые... А у тебя, — нанес удар Ефимкин, — одна водка, у тебя хрен не стоит.

— У меня?! — гневно задохнулся Жамкин Степан.

— Ну да, — подтвердил Ефимкин. — Я лук почему уважаю? Потому что он силу дает... Я тебе, Степан, одеколону бутылку поставлю — посидишь за меня на ключе? А я в кишлак смоताюсь на один день.

— Ладно, хватит вам, — втесался в разговор начальник станции Гуров. — Пошли жрать!

Гидрометеостанция стояла на ошлифованном ветрами и пургами каменном бугре, на берегу ледника. Пять километров отделяли ее от уровня моря, два дня пешего пути — от Алтын-Киика. Путь был опасен: ледниковые трещины заглатывали людей, люди ломали кости на ледосбросах и замерзали в снеговых норах. Медленно сползал Великий ледник в долину, возвращая на теплую родину трупы тех, кому не повезло в горах: басмачей и красноармейцев, геологов и вольных бродяг, контрабандистов и горновосходителей.

Ефимкин знал наперечет имена тех, кому не повезло за последнее время. Но не каждому же, в конце концов, не везет на Леднике! Есть и такие, которым везет... Всего два дня — и лук, и чучмечка, и водку на складе у Зотова можно взять. И, главное дело — проветриться хоть немного, а то ведь надоел этот Жамкин хуже черта, да и начальник тоже костью в глотке: хоть ножом их режь. Полгода назад все было хорошо, дружили, танцевали даже под патефон. А как зима пришла, как задуло — тут и началось: это — не то, и то — не то, а ты — сволочь, а ты сука рваная... И дует, и дует, и метет: зима. В России-то, дома, и разницы вроде никакой нету: лето или зима. А тут за копейку залезли на Крышу мира — вот и сиди, кукуй.

Надо в кишлак спускаться, хоть день один пожить по-человечески: и поесть чтоб, и выпить, и бабу. Не всем же, в конце концов, не везет.

— Ну, чего надулся! — услышал Ефимкин голос начальника Гурова. — Тебе сегодня посуду мыть.

— Включи радио, что ли, — попросил Ефимкин. — Веселей будет.

Жамкин перегнулся через спинку стула, ткнул пальцем в клавиш приемника и повернул ручку настройки.

“Краснознаменные свекловоды Украины перевыполнили взятые к празднику обязательства на двенадцать с половиной процентов”, — весело сообщил диктор.

— Да найди ты что-нибудь! — поморщился Гуров. — Просят же тебя, как человека.

— А я что делаю? — огрызнулся Жамкин. — Хочешь — сам иди ищи.

“Свадебное платье принцессы украшало тридцать четыре крупных бриллианта”, — отчетливо донеслось из приемника.

— Голос врага, — определил Гуров. — Сейчас музыка будет.

— Во дает! — наклонив голову к плечу, отреагировал Ефимкин. — Тридцать четыре!

— Точно, как у твоей чучмечки, — мстительно заметил Жамкин Степан.

Ефимкин слушал сообщение с большим интересом. Темно-желтая борода Ефимкина облегла его крупное лицо и на висках соединялась с косматой шапкой давно нечесанных волос. Борода тоже была нечесана и кое-где торчала клочьями. Свободным от бороды оставался лишь большой рыхлый нос с широкими ноздрями, незначительная часть красных щек и выпяченные несомкнутые губы, за которыми виднелись редко посаженные зубы желтоватого цвета.

“На брачную церемонию прибыло четыреста гостей. Шестьдесят семь из них приплыли на собственных яхтах”.

— Шестьдесят семь... — задумчиво повторил Ефимкин. — Ишь, ты!

— Считай, считай! — со злобой сказал Жамкин. — Тебя забыли туда позвать.

— Дайте послушать, уроды! — прикрикнул начальник Гуров. — Интересно же!

“Назавтра после церемонии молодые отправились в свадебное путешествие”, — прилетело из приемника.

— Ну, елки-палки! — в большом возбуждении Ефимкин треснул себя красными лапами по коленям. — Ну, он ей вльиндит!

— А как же! — насмешливо поддержал Жамкин. — Он каждое утро лук жрет из золотой миски, по три головки зараз!

— Ему это не надо, — сумрачно опроверг Ефимкин. — У него и так жизнь красивая. Думаешь, самолета у него нет? Есть!

— А я и не думаю, — без подъема согласился Жамкин.

“Гонолулу, Таити, Калифорния, Нью-Йорк, Париж — таков намечаемый маршрут принца и принцессы”, — обрадовал диктор.

— Гонолулу, — бережно произнес хрупкое слово Ефимкин. — Где-то я это слышал.

— Там, брат, все бабы голые ходят, — просветил Ефимкина начальник Гуров. — Одни перья на них — а больше ничего нет.

— Ну, если тепло... — прикинул Ефимкин, а потом с ненавистью прислушался к гулу снежного ветра за металлической стеной станции. — Начальник, я в кишлак спущусь и почту заодно принесу!

“Вертолет доставил молодую пару на борт парохода “Христофор Колумб”. Четыре плавательных бассейна оборудованы на палубах парохода”.

— Заткни его, Жамкин, к чертовой матери! — махнул рукой Гуров. — Хватит! Послушали...

— Пойду я! — Ефимкин взглянул на Гурова вопросительно. — Завтра с утречка... Не заложишь?

— Иди, хоть сдохни, — сказал Гуров. — Только вон с Жамкиным договорись — ему за тебя вкалывать.

— Жамкин, — сказал тогда Ефимкин просительным голосом. — А, Жамкин...

— Ну, что Жамкин! — крикнул Жамкин. — Сколько тебя не будет-то?

— По два дня туда-обратно, да день там, — показал на пальцах Ефимкин. — Вот и считай...

— Пять дней всего получается, — не затруднился в счете Жамкин. — Пять бутылок с тебя, по бутылке за день.

— Принесу, — не раздумывая, согласился Ефимкин. — Лады, значит... Так я, ребята, тогда спать пойду, а завтра с утречка тронусь.

Возражать ему не стали.

— Ты видел бабу-то эту? — поинтересовался Жамкин, когда дверь кают-компания закрылась за Андреем Ефимкиным. — Чучмечку?

— Видел, — подтвердил Гуров. — Ничего из себя... Этого же на, как его звать... Охотника!

— Застрелит он его, — сказал Жамкин Степан и ухмыльнулся. — Вот увидишь, застрелит!

2.

— Царь был прав, — сказал Леха, заглядывая в обрыв, — хотя в институте нас этому не учат... Нет, вы поглядите на эту красо-

ту! Только идиот мог пронести Памир мимо рта. Царь проглотил его, и он наш. Наш!

Люся и Володя послушно поглядели, куда им было указано: вид с перевала был, действительно, прекрасен. На дне ущелья, на берегу вздувшейся реки, теснились крохотные кибитки Алтын-Киика. Вечернее солнце розово высвечивало эту часть мира. После гладкого, как доска, снежного перевала, где и ветру не за что было зацепиться, эта солнечная долинка с белыми домиками на чистой зелени казалась сказочным, райским местом.

— Чудо! — отстранившись от провала, сказала Люся. — Простое чудо! Леха, ты прелесть!

— Я же говорил — это вам не Крым и даже не Кавказ. — Леха с хрустом вогнал в землю новенький ледоруб, оперся об него и с удовольствием глядел вниз, в долину. — Один мой товарищ, мастер спорта по альпинизму, сюда каждый год ездит — он мне рассказывал... Вон там, налево, должен быть Ледник.

— Отдохнем? — с надеждой спросил рыхлый вислозадый Володя. — Перед спуском...

— Да ты что! — даже возмущился Леха. — Скис, да? Это тебе не по Волге на лодке кататься... До темноты спустимся, переночуем в деревеньке. — В голосе Лехи зазвучали медные нотки лидера.

— Ну, хоть четверть часика! — поддержала Володю Люся. — Ноги прямо гудят.

— Нет! — решил Леха. — Здесь темнеет быстро. И, потом, ветер.

Он устал не меньше своих спутников, но виду не подавал, держался молодцом. Крепкий парень Леха, упорный. Из таких выходят со временем образцовые секретари комсомольских организаций или безоглядно преданные делу страдальцы за русскую свободу.

— Когда я делал маршрут по Волге на байдарке... — начал было Володя.

— ... ты там такого не видел, — оборвал Леха. — Я вас сюда привел, я обещал настоящие горы — получайте. Люська, держи хвост пистолетом!

— Я ничего, — сказала Люся, покорно заглядывая в обрыв. — Я держу... Только высоко очень.

— Конечно, высоко, — снисходительно согласился Леха. — По-

лезем на Ледник — еще выше будет.

— В районе Ледника обнаружены следы снежного человека, — сообщил Володя, желающий сколько возможно оттянуть спуск. — Это где-то здесь.

— Я не верю, — решительно заявила Люся. — Писали, писали — а поймать никак не могут. Сказки все это.

— Все-таки, неизвестно, — воспротивился Володя, разжигая спор. — Леха, как ты думаешь?

— У нас кого хочешь поймают, — сказал Леха.

— Линней внес его в таблицу, — не унимался дотошный Володя. — Карл Линней. Гомо Троглодитус.

— Ну, ладно, — подвел черту Леха. — Отдохнули — и хватит. Пошли!

Леха спускался первым. Легко балансируя, он нащупывал камни ногой, обутой в удобный горный башмак с резиновой рифленной подошвой. Тяжелый альпинистский рюкзак не казался непомерно большим на широких Лехиных плечах, обтянутых нарядной — черной с красным — спортивной курткой.

3.

Андрей Ефимкин сидел на земле у глинобитной стены Гульмамадовой кибитки и ел лук. Он ел его как яблоко, с хрустом вгрызаясь в синеватую, скрипящую мякоть луковицы крепкими зубами, откусывая значительный кусок и жуя его с видимым удовольствием. Целая горка радужных луковичных шкурок возвышалась у больших ног Ефимкина. Мягкий теплый ветерок, налетая, нарушал хрупкую стройность горки и катил легкие шкурки по двору.

Гульмамад, подобрав полы затасканного халата, сидел на корточках против гостя. Молча и внимательно наблюдал он за жующим зимовщиком, прослеживал, чуть склонив голову к плечу, скольжение крупных слез, проливающих из покрасневших глаз Ефимкина и бесследно исчезающих в бороде.

Рядом с Гульмамадом на корточках же сидел сын его, подросток Джура. Он сидел здесь просто так, праздности ради; Ефимкин не занимал его мысли. Время от времени Джура, пошарив за пазухой, выгребал оттуда кекелика и поил его слюною изо рта.

— А соль-то... — с сожалением произнес Ефимкин, жуя.

Гульмамад выразительно взглянул на сына. Джура мигом слетал в дом и вернулся, неся на клочке газеты щепотку зернистой, крупной соли.

— Слышь, Гульмамад, — уныло сказал Ефимкин и обмакнул луковицу в соль. — Кадам-то что ж не идет?

Гульмамад поднялся тотчас и, приставив ладошку ко лбу козырьком, всмотрелся в арчатник, сплошь покрывавший подножные горы, в трехстах метрах от кибитки. Никакого движения нельзя было обнаружить в зарослях, и Гульмамад, убедившись в этом, удовлетворенно отвел ладошку ото лба.

— Скоро придет, — предположил Гульмамад и снова опустился на корточки.

— Придет, придет... — ворчливо передразнил Ефимкин. — Так ночь скоро!

— Ну да, — невозмутимо подтвердил Гульмамад. — Был день, теперь будет ночь. На леднике не так, что ли?

Ефимкин злился, не находя возражений. Потом он согласился:

— Так... Ночью-то какая охота? Смех один!

— Тогда он утром поедет, — не стал спорить Гульмамад. — Утром тоже хорошо.

— Как утром?! — даже подскочил Ефимкин. — Он что — говорил?

— Нет, — пожал плечами Гульмамад.

Немного успокоившись, Ефимкин вытащил из кармана луковицу, перочинным ножиком аккуратно надрезал шкурку, обстоятельно очистил. Оглядев всесторонне, выбрал красивое место и надкусил.

Гульмамад глядел на Ефимкина сосредоточенно: он поджидал, когда покажутся слезы и потекут в бороду.

— Вчера только поймал, — поведал Джура, с силой глядя кекелика. — В петлю.

Гульмамад обрадовался сообщению сына, словно бы услышал его впервые. Выпростав руку из длинного рукава, он ласково погладил ребенка по шишкастой стриженной голове.

— Я на зимовке для вас же вкалываю, для народа, — никак не реагируя на похвалы Джуры, пожаловался на жизнь Ефимкин, — а вы тут чай пьете...

Ефимкину было муторно, и он искал сочувствия к себе.

— Чай хочешь, что ли? — не догадался, однако, Гульмамад.

— Какой там чай! — горько огрызнулся Андрей Ефимкин. — Уйдет он сегодня на охоту, Кадам-то? Как ты думаешь?

— Уйдет, куда денется, — без колебаний согласился Гульмамад. — Брат его из армии приходит — мясо нужно. Он вечером уйдет — утром козла принесет. А если утром уйдет — тогда вечером обратно будет с козлом.

— Утром... — проворчал Ефимкин. — Отпуск у меня, что ли! Брат-то его когда будет?

— Завтра придет, наверно... Как там, наверху? — вежливо полюбопытствовал Гульмамад, кивая в сторону Ледника.

— А чего там? — сказал Ефимкин. — Лед да лед... Нормально.

— А, — отозвался Гульмамад. — Тогда хорошо.

Ефимкин доел луковицу и тщательно утер глаза тыльной стороной ладони.

— Чего он там сидит? — снова спросил Ефимкин, кивая в сторону арчатника. — Время только переводит...

— Какой там сидит! — вдруг развеселился, замахал руками Гульмамад. — Он же не сидит!

— Сидит, не сидит! — озлобился Андрей Ефимкин на смех Гульмамада. — Мне-то что?! Я два дня по льду пер, чуть не сдох — и вот тебе, здрасьте! Охотник на охоте должен быть, а не в кустах сидеть под деревней!

— Он за сорокой пошел, — дал справку Джура.

— Ты-то заткнись, сопляк! — гневно прикрикнул Ефимкин. — Какая еще сорока?

— Наш памирский обычай, — вмешался Гульмамад. — Сороку убьешь — будет хорошая охота... Трещин много на леднике?

— Есть, — мрачно сообщил Ефимкин. — Тебе-то что?

— Да так... — сказал Гульмамад. — Ты не падал?

Джура засмеялся, глядя своего кекелика.

Ефимкин посмотрел на него свирепо, потом далеко сплюнул сквозь зубы и промолчал.

— А ты попробуй, убей сороку, — посоветовал Джура. — Она близко не подпускает.

— Сороку трудно поймать, ой, трудно! — поддержал Гульмамад. — Самая хитрая птица.

— Борщ мне с ней, что ли, варить, с сороки с этой, — презрительно пожал плечами Андрей Ефимкин и полез в карман за луковицей.

Каждый извив тропы открывал новый вид; хотелось остановиться и глядеть, поворачивая голову от плеча к плечу.

— Давай постоим немного, — сказал Володя. — Красиво очень.

Леха покосился на Володю подозрительно: устал парень, хандрит. Не годится хандрить в горах. Сначала хандра, потом тошнота, потом горная болезнь. Не годится. Надо это сразу пресекать.

— Ну, давай... — неохотно согласился Леха. — Вниз особенно не смотри, а то голова закружится.

Лехе тоже было приятно глядеть на красоту окружающей природы — но отмеренное самому себе удовольствие он уже получил, глядя на долину с перевала. Следующую порцию он наметил получить в кишлаке, и получить сполна. А трудный спуск следовало брать, не отвлекаясь и не вертя головой. Спуск есть спуск, по нему надо спускаться. Там, внизу, будет еще приятней от чувства победы над спуском.

— Даже стихи читать хочется, честное слово, — сказал Володя, с наслаждением опускаясь на камень.

— А мне бы поспать, — сказала Люся. — Ноги прямо отваливаются... Спать — и все.

— На том свете выспимся, — мрачновато пошутил Леха. Он вдруг почувствовал наплыв усталости, словно бы его подхватила и понесла, поворачивая, тяжелая мутная вода. Вон она движется, течет, эта вода, по дну ущелья — медленная и сильная, безразличная к собственным берегам, и к деревеньке на берегу. Это отсюда, со спуска, она кажется неповоротливой и медленной. На деле, вблизи, она стремительна, как брошенный камень, и ее берега, обглоданные ею, бесплодны... Надо опускаться, идти вниз, и тогда забудется усталость, и забудется река.

— Палатки вон там можно поставить, — сказала Люся. — Вон там, на опушке.

— Нет, — возразил Леха, — зачем палатки. Попросимся к кому-нибудь. Пустят переночевать-то.

— В крайнем случае, дадим колбасы или консервов банку, — предложил Володя. — Сайру.

— Нужна им твоя сайра! — отмахнулся Леха. — Я стеклянные

бусы специально на этот случай взял и ножички перочинные.

— Я читал, что они тут лет тридцать назад русских людей не перочинными резали, — поделился сомнением Володя. — Может, действительно, лучше в палатке? Тем более, скоро темно.

— Что было, то сплыло, — отверг Леха. — В Москве тоже когда-то головы топорами рубили, а теперь метро идет... Басмачей нам, что ли, бояться? Нет тут никаких басмачей, и не было никогда.

— А я читал... — продолжал было упорствовать Володя.

— Все! — по-командирски пресек Леха. — Читал, читал! От чтения иногда глаза слезятся... Пошли! А то я сам с вами тут разнюнился.

5.

Ветер разогнал, разметал легкие шкурки лука повсему двору.

Привалившись спиной к стене кибитки, Ефимкин беспокойно дремал, пригревшись на солнышке. Гульмамад, собиратель интересных трав и ловец сурков, дремал чутко, но безмятежно. Подросток Джура не дремал: он играл с кекеликом. Утомленный игрой кекелик был вял и недалек от смерти.

Кадам приблизился неспеша. Убитую сороку он держал за крылья. Крупная птица чертила длинным хвостом след в пыли тропы.

Бросив полузадушенного кекелика за пазуху, Джура выбежал навстречу Кадаму. Гульмамад открыл ясные глаза и последовал за сыном. Поднялся с земли и Ефимкин, пошлепал на затекших ногах.

До Кадамова дома идти недалеко: полсотни шагов. Подойдя, Кадам бросил сороку на порог и вошел в дверь.

— Два часа потерял... — сказал Ефимкин так, что и не поймешь, кто это потерял два часа — Кадам, убивший сороку, или сам он, Андрей Ефимкин. Брезгливо отвернувшись от сороки, Ефимкин потянулся со вкусом и подтянул сатиновые шаровары, заправленные в порывевшие кирзовые сапоги.

— Очень хорошая сорока, — со знанием дела осмотрев тушку, заявил Гульмамад. — Молодец Кадам.

Кадам тем временем вышел из кибитки и уселся на низкий выщербленный порожек.

— Ну, как? — спросил Ефимкин, живо оборотившись к Кадаму. — На охоту-то не поздно? Ночь скоро — смотри, разобьешься!

— Нет, пойду, — сказал Кадам. — На горе спать буду.

-- И то... — поддакнул Ефимкин. — На свежем воздухе.

— Когда спускаешься-то? — спросил Гульмамад у Ефимкина, словно бы и не прерывал с ним разговора, не дремал и не перешел потом к соседскому дому. — Долго еще тебе?

— Да полгода еще осталось, — поделился Ефимкин. — Как смена придет — спущусь.

— На второй срок не останешься? -- продолжал тепло расспрашивать Гульмамад. — У вас там платят хорошо, и еда.

— Да чтоб оно все сдохло! — с чувством сказал Ефимкин. — Второй срок!.. Там за полгода все мозги отшибает.

-- Чай пить надо, — сказал Кадам, подымаясь с порожка. — Кипит.

— Какой там чай! — с отчаяньем воскликнул Ефимкин. -- Стемнеет — что за охота?! Э, черт, без мяса какая у вас гулянка — ты хоть ему скажи, Гульмамад! — Ефимкин, крупно шагая, прошелся взад-вперед про двору. — Как у нас без водки — одинаково.

— Чай пить идем, Андрей, — пригласил Кадам.

Он пропустил перед собой Ефимкина, а потом, не отпуская двери, оглянулся на горы и, сощурив глаза, всмотрелся внимательно.

Трое медленно спустились по тропе с перевала. Напрягая зрение, Кадам разглядел впереди тройки Леху с большим рюкзаком за плечами.

— Кто такие! — проследив взгляд Кадама, Гульмамад досадливо пожал плечами. — Чего ходят сюда!.. То этого с Ледника черт принес, теперь еще трое. Будет этому конец?!

— Аллах велик, — пробормотал Кадам. -- А мир — мал.

Они вошли в кибитку. На достархоне стояли пиалки, рассыпаны были лепешки. В чайном блюдецке желтело густое ячье масло.

Андрей Ефимкин, разумно полагавший, что есть и пить надо все, что дают, угощался, однако, вяло. Кадам с Гульмамадом, напротив, чай пили с удовольствием, мелкими глоточками, и подливали без конца. Гульнара прислуживала, подсыпала завар-

ку в маленькие круглые чайники.

Чай, наконец, был выпит без остатка. Гулкая отрыжка гостей красноречиво говорила о том, что они вполне сыты и благодарны хозяину.

— Омень! — сказал Кадам, провел ладонями по лицу и поднялся из-за достархона.

Сев в уголке комнаты, он неспеша, старательно натянул на ноги мягкие сапоги с самодельными галошами — верха из брезента, низы из старой автомобильной покрышки, — чтоб хорошо держали на скалах. Потом снял с гвоздя камчу и огниво, взял бинокль в футляре, винтовку и вышел во двор — там под навесом стояла подседланная лошадь.

Гульмамад вышел вместе с хозяином.

— Ну, все, — сказал Ефимкин, освобожденно вздохнув. — Ты, Гуля, давай, собери покушать, а я до склада дойду, до Зотова, возьму бутылку.

6.

Из красного ситцевого мешка Гульнара высыпала на достархон битый сахар, фруктовые конфеты. Сходила в коридор, принесла, держа лапами плюшевого жилета, казан с вареным мясом. Поставила кастрюлю с кислым молоком — айраном. Подумала: что бы еще подать? Больше, вроде, и нечего...

Хрустя окаменевшей конфетой, Гульнара взыскательно разглядывала себя в маленькое карманное зеркальце. Эти зимы, эти лета в Алтын-Киике не прошли для нее бесследно, нет, не прошли. Что осталось в ней от прежней Гульнары, буфетчицы, на которую все мужики заглядывались — не было такого мужика, чтоб не заглядывался! Никакая усьма ей уже не поможет, никакая хна. Кзыл-Су ей поможет, поселок, нормальная жизнь — кровать чтоб была с панцирной сеткой, и радио, и чтоб люди вокруг... Ефимкин пришел к ней, Андрей — сокровище бесценное. Луком от него несет, как от овощного склада. Хоть бы причесался, кавалер, рожу умыл! А когда поднимался на Ледник — ничего мужик был, симпатичный даже. Совсем озверел за полгода... И обижать его не надо — из-за нее ведь, из-за Гульнары два дня шел по льду, мучился.

Стук в дверь оторвал Гульнару от невеселых ее размышлений.

— Ну, чего стучишь-то? — вяло сказала Гульнара, откладывая зеркальце. — Входи...

На пороге, заслонив дверной проем, стоял Леха.

— Здравствуйте, — сказал Леха. — Салам алейкум. Мешочки можно тут у вас побросать? Ну, рюкзаки?

Гульнара молча рассматривала Леху — его черно-красную куртку, обтягивавшую широкие плечи, его чистые джинсы с множеством карманов и кармашков. Потом, закончив неторопливый осмотр, отвела глаза и усмехнулась.

— Туристы? — спросила Гульнара, не подымаясь с кошмы. — Вы заходите!

— Угадали! — громко сказал Леха, несколько смущенный пристальным вниманием хозяйки. — Москвичи. Студенты. Вы — к нам, а мы к вам. Хозяин есть?

Гульнара смеялась, глядя на Леху. Красивый парень Леха, ничего не скажешь... Ну, не повезло Андрею, ну, не повезло! В другой раз, наверно, повезет.

— Нет хозяина, — сказала Гульнара, отсмеявшись. — Тебе хозяин нужен?

— Да нет, — сказал Леха. — Это я просто спросил...

— Сколько вас? — Гульнара немного приподнялась, стараясь разглядеть, кто там, за Лехиной спиной. — Да заходите!

— Трое, — сказал Леха. — Тут ведь у вас гостиницу еще не построили?

— Здесь оставайтесь, — сказала Гульнара. — Места хватит... Я как-раз гостей жду — садитесь чай пить. Будете?

— Вот спасибо! — сказал Леха. — А то мои вот совсем скисли, — он кивнул на Люсю и Володю, стоявших безучастно.

— Тоже москвичи? — спросила Гульнара, ополаскивая пиалушки кипятком.

— Тоже, конечно, — сказал Леха. — Устали они очень. С непривычки.

— А ты? — спросила Гульнара.

— Я — нормально, — сказал Леха, напрягиваясь и стуча себя в грудь кулаком. — Слышишь, как звенит?

— Не слышу, — сказала Гульнара, с удовольствием, однако, прислушиваясь к гулу, доносящемуся из Лехиной грудной клетки. — Зовут тебя как?

— Леха я, — сказал Леха.

— Леха... — повторила Гульнара. — Что за имя... А я — Гульнара. Ну-ка, скажи: Гульнара!

— Гуль-нара, — нараспев сказал Леха. — Гульнара... Братцы, вы не помните, — обернулся он к своим, — это, случайно, не из "Тысяча и одной ночи"?

Они не знали. Они сильно устали и хотели спать. Вон там, в уголке, можно было бы, не откладывая, прилечь, если б Леха не завел эти дурацкие разговоры. Завтра нельзя, что ли, поговорить на свежую голову?

— Тогда мы, так сказать, — сыпал меж тем словами Леха, — это... Ну, в общем, чем богаты, тем и рады... По-туристски... Не обидитесь?

И вот уже он развязал рюкзаки, и достал сухую колбасу, и коньяк, и сайру бланшированную, и сардины марокканские, и растворимый кофе бразильский, и джем, и даже суповые концентраты в блестящих станиолевых пакетах. Все это он, одержимый прекрасным, вдруг нахлынувшим на него беспокойством, рассыпал по достархону впереमेжку с хозяйскими каменными конфетами и кусками лепешек. Потом, суетясь, не останавливаясь ни на миг, он еще раз обшарил рюкзаки и извлек несколько банок апельсинового сока и тресковой печени, а зеркальца и бусы засунул поглубже. А потом опустил на кошму у достархона, несколько подчеркнуто перевел дыхание и сказал:

— Ну, кажется, все. Можно начинать.

Леха, наконец-то, попал на самый настоящий Памир, в самую что ни на есть горную глухомань. Он еще не успел и шагу здесь ступить — а вот уже в тускло освещенной керосиновой лампой, музейной этой кибитке, незнакомая, красивая сказочной красотой Востока женщина была рада его приходу. И ему это было необыкновенно приятно — все, все вместе, скопом: и Памир, и сам он на Памире, и трудный головоломный спуск, и эта женщина, с полуулыбкой протягивающая ему пиалу. Какая рука у нее — смуглая, хрупкая в запястье, с длинной узкой ладонью!

Леха разлил коньяк и поднял свою пиалу.

— За вас, — сказал Леха Гульнаре. — То-есть, за тебя... Ребята, давай за Гульнару!

— Армянский, четыре звездочки, — сказала Гульнара, рассматривая этикетку на бутылке. — Сколько времени такой не пила...

— Вот конфета, бери, — Леха протянул ей “Мишку” на ладони. — Хочешь колбаски?

Володя включил свой транзистор. Кто-то где-то пел на неведомом языке про любовь, а может быть про смерть. В песне любовь и смерть так похожи друг на друга.

— Картошечки бы сейчас, — сказал Володя, послушав музыку. — Жареной.

— А ты хочешь? — глядя на Леху, спросила Гульнара.

— Могу... — сказал Леха. — Конечно, хочу! Я помогу тебе, ладно?

Гульнара пожала плечами. Странные они, все-таки, люди, эти русские. Помочь ей жарить картошку? Это дело не мужское.

— Ладно, — сказала Гульнара. — Пошли.

Они вышли в коридор, и Гульнара, присев на корточки у кухонного очага, принялась за картошку. Она держала картофелину в вытянутых пальцах левой руки, а правой — с зажатым в ней ножом — легко, словно бы бежевый бинтик, разматывала кожуру. Расхаживая по коридору, Леха искоса наблюдал за работающей Гульнарой. Время от времени он возбужденно прикасался ладонью к стенам, щелкал пальцем по донцам развешанных казанов и кастрюль. Он ждал взгляда Гульнары, ждал знака — но женщина молчала, занимаясь своим делом.

— Я завтра дальше уйду, — сказал, наконец, Леха. — На Ледник. Но я тебе все равно скажу. Вот что тебе скажу... Ты очень красивая, понимаешь? Понимаешь — красавица? Я такой красивой никогда еще не видел, в жизни. Я завтра все равно ухожу...

Леха подошел к Гульнаре и опустился на корточки против нее. Между ними тускло поблескивал таз с очищенной картошкой. Гульнара подняла лицо от таза, улыбнулась. Она, действительно, была красива — в полутемном коридоре, при неровном свете низкого огня в очаге.

— Леха, — сказала Гульнара. — Что за имя?

Она набрала из мешка горсть мелких картофелин и стала бросать их над тазом в Леху — в разведенные его колени, во внутренние стороны бедер... Почему бы ей, собственно говоря, и не заигрывать с Лехой таким образом? С Ефимкиным она в свое время и не думала так поступать — но ведь и Ефимкин не говорил ей ничего подобного ни про красоту ее, ни про “Тысячу и одну ночь”. Он все это делал совсем по-другому, противно да-

же вспомнить — как.

Леха сидел неподвижно, ошалело глядя на прицельно летящие картофелины, а потом вскочил на ноги — но одновременно с ним поднялась Гульнара со своим разделяющим их медным тазом и тихо, глухо засмеялась.

— Ну, что смотришь? — сказала Гульнара, устанавливая таз с картошкой на треногу над очагом. — Идем, а то там твои совсем заснут.

Посторонившись, Леха пропустил Гульнару вперед — она прошла по узкому коридору, чиркнув его по ногам подолом длинного платья. Тогда он положил ей руки на плечи, повернул к себе лицом — легкую и стремительную. Сжал ей ладонями виски, притянул требовательно, поцеловал, с восторгом чувствуя ее прохладный, заостренный на конце язык.

— Леха! — сказала Гульнара, высвобождаясь. — Чудной! — и вошла в комнату.

Люся спала, положив голову на рюкзак. Володя через силу поднялся с кошмы и сел, неловко поджав ноги. Глаза его слипались, он глядел мутно.

— Дай ей подушку, — Гульнара кинула ему подушку, он неловко поймал ее и сунул Люсе под голову. Люся благодарно что-то пробормотала и повернулась набок, спиной к керосиновой лампе.

— Давайте выпьем! — сказал Леха, усевшись, и потянулся за бутылкой. — Выпить хочется...

— Играть можешь? — спросила Гульнара, глазами указывая на гитару. — "Звонок по телефону" можешь?

— "Звонок по телефону" не могу, — сказал Леха. — Володька, дай-ка гитарку!

— Спой "Табуны", — попросил Володя. — И — спать.

— Мой поводырь — крылатая свобода, — запел Леха, —
В реке весенней не ищу я брода.

И в голубом отечестве моем

Дана мне степь с бегущим табуном.

— Хорошая песня, — сказала Гульнара, когда Леха отложил гитару. — Московская?

— Московская, — вдруг поскучив, сказал Леха. — Здесь даже вспоминать про Москву эту не хочется... — Он долго глядел на Гульнару, а потом добавил: — Здесь — лучше!

— А, все-таки, интересно, — вошел в разговор Володя. — Три

дня назад — Москва. Всего три дня! И вдруг мы — здесь. Это же, можно сказать, край земли.

— Три дня, — повторила Гульнара. — Да...

— Мы вот встретили тут одного человека, — продолжал Володя, — в поселке. Спокойный такой человек, как будто на Луне живет. Мы его спрашиваем: "Хорошо тебе?" Он говорит: "Да. А вам здесь хорошо не будет". Мы опять спрашиваем: "А почему?" А он говорит: "Такая жизнь вам на день подойдет, ну, на неделю. Потом вам здесь все осточертеет — и горы, и люди — и вы обратно в город уедете". Так примерно он сказал, этот киргиз.

— Правильно сказал, — Гульнара нахмурила низкий чистый лоб. — Что одному хорошо, то другому — плохо.

— А тебе Москва — подойдет? — спросил вдруг Леха.

— Что зря говорить! — недовольно сказала Гульнара. — Кто меня туда возьмет, в Москву? Ты, что ли?.. Кызыл-Су мне подойдет.

Дверь без стука отворилась, и на пороге возник Андрей Ефимкин. В руках он держал бутылку водки и банку тушонки, намазанную машинным маслом. Окаменев от изумления, Ефимкин тупо смотрел на людей за достархоном, на коньяк, на колбасу. Всклопоченный, грязный Ефимкин выглядел дико и нелепо, и это рассмешило Гульнару.

— Памирский хиппи! — взглянув на усмехнувшуюся Гульнару, воскликнул Леха. — Давай к нам... Тоже турист, что ли? Ну, ты, батя, и зарос!

Ефимкин все так же неподвижно торчал на пороге. Он никак не мог взять в толк, что же это такое здесь произошло.

— Проходи, Андрей, — степенно сказала Гульнара. — Садись. Приглашают ведь!

Ефимкин поставил на край достархона водку и тушонку и мрачно сел сбоку.

— Геолог? — спросил Леха, нарушая неприятную паузу.

— Сам ты геолог! — огрызнулся сердитый Ефимкин.

— Ну, чего уж ты так! — миролюбиво заметил Леха. — На лбу ведь у тебя не написано.

— Чего? — спросил Ефимкин. — От лба и слышу!

Леха презрительно и вызывающе уставился на Ефимкина, ловя его взгляд. Ефимкин молча открыл свою бутылку, налил вод-

ку в стакан и выпил залпом.

Разлил и Леха, не спуская глаз с Ефимкина.

— Я не буду, — решил Володя. — Вы пейте, а я посплю. — Он улегся на кошке, подложив под голову рюкзак.

— Лук где? Лук давай! — потребовал Ефимкин. — Чего расселась-то?

Гульнара поглядела на Леху и не двинулась с места.

— Повежливей, — сказал Леха. — Я тебе советую...

— Давай вали отсюда, — перебил его Ефимкин. — Тебя еще не хватало!

— А ты, однако, шутник, — сказал Леха протяжно. — Давай вместе! — он кивнул в сторону двери.

Ефимкин неспеша доцедил остаток водки из стакана, закусил лепешкой и поднялся на ноги. Встал и Леха, улыбнулся Гульнаре и пошел к двери.

Завернув за угол дома, у ручья, мужчины остановились.

— Моя баба, — сказал Ефимкин. — Ишь ты какой петух! Сказал — вали, а то зебры-то враз повыломлю!

— Супруг, значит? — наигранно удивился Леха. — Смотри, пожалуйста! А где ж детки?

Ефимкин клокотал от злости. Не найдя подходящих к случаю слов, он начал напирать на Леху грудью, тесня его к ручью.

— Но-но! — поддразнил Леха, легко двигаясь на крепких ногах. — Осади назад! Набил бы я тебе харю, да больно ты на Карла Маркса похож. Бритва у тебя есть? Побрейся сначала!

Ефимкин, изловчившись, ударил Леху в лицо. Леху откатнуло ударом, он согнулся на миг — и, уже на разгибе, распрямляясь, выкинул вперед согнутую в локте правую руку, целясь Ефимкину в поддых.

Драка предстояла серьезная.

За углом дома, в тени, стояла Гульнара, смотрела на дерущихся мужчин. Узкие ее ладони были сведены в кулачки.

7.

Всадник подъехал к дому Кадама неспеша, солидно подъехал. Под всадником шел серый мерин, толстоногий и надежный; такой мерин не станет плясать и вставать на дыбки, причиняя тем

самым дорожные неудобства хозяину. Дело мерина — везти, вот он и вез всадника на своей гладкой широкой спине.

Всадник был одет необычно для этих мест: синий нейлоновый плащ "болонья" обтягивал его сильные плечи, на голове прямо сидела австрийская зеленая шляпочка, густо украшенная значками и перьями лесных птиц. Значки были подобраны без всякой системы: были тут и спортивные с лыжами и гирями, и патриотические с ленинским профилем и трудовыми лозунгами. На ногах всадника, упертых в стремяна, сумрачно поблескивали лаковые штиблеты, купленные в похоронном магазине. Штанины клетчатых брюк его высоко задрались от длительной поездки верхом и открыли нежно голубые шелковые кальсоны, заправленные в короткие носки.

Спешившись, приезжий неторопливо привел в порядок свой костюм, почистив его ладонью и разгладив на теле, а потом отвязал от седла заграничный картонный чемодан, перетянутый для надежности новой бельевой веревкой. Поглядев некоторое время на дерущихся, он неодобрительно покачал головой и, крадучись обогнув дом, подошел к Гульнаре. Захваченная зрелищем драки, Гульнара не заметила его появления.

— Э! — шепотом сказал приезжий, постояв.

— Иса! — резко обернувшись, вскрикнула Гульнара.

— Я, — сказал Иса. — Это что — представление, что ли? — он кивнул в сторону дерущихся. — Кадам где?

— В горах он, — сказала Гульнара, с интересом рассматривая Ису. — За мясом ушел.

— А эти — что? — с укором спросил Иса.

— Это ты! — не ответила Гульнара. — Приехал... Ну, разними же их!

— Тихо! — прошептал Иса, оттаскивая Гульнару за угол дома. — Двое дерутся — третий не лезь! Правило знаешь?

— Так они убьют друг друга! — возразила Гульнара.

— Пускай убивают! — решил Иса. — Ты в тюрьму пойдешь.

— Почему это? — не поверила Гульнара.

— Не из-за меня ж они тут дерутся, — хладнокровно разъяснил Иса. — Из-за тебя. Тебе и сидеть по закону.

— Какой ты стал... — то ли с удивлением, то ли с разочарованием сказала Гульнара.

— Какой стал... — раздраженно повторил Иса. — Правильный

человек стал — вот какой! Потому что я мир повидал в советской армии. А ты сидишь в этой дыре — что видишь? Одни глупости! — приставив палец к носу, Иса огорченно высморкался на землю, а потом утер ноздрю сложенным вчетверо носовым платком. — Они русские, что ли — эти?

— Русские... — подтвердила Гульнара. — Ты писал: "уведу тебя в Кзыл-Су". Помнишь — писал?

— Ну, помню, — признал Иса. — А ты тут вон чего развела... Думать надо!

— Я думала, — сказала Гульнара быстрым шепотом. — Я все придумала, Иса!

— Придумала! — повторил Иса, передразнивая Гульнару. — А я вот еще не придумал... Пойдем к Гульмамаду, что ли — чего тут на них любоваться!

Гульнара подняла чемодан, пошла по тропинке следом за Исой.

— Тяжелый! — сказала Гульнара. — Что там?

— Много чего есть, — кратко сообщил Иса. — В Берлине брал.

— Поедем в Кзыл-Су! — сказала Гульнара, обгоняя Ису и останавливаясь перед ним. — Мне тут жизни нет никакой... Поедем, Иса!

Иса, не отвечая, попытался пройти мимо Гульнары.

— Нет, ты стой! — Гульнара загородила ему дорогу чемоданом. — Да стой же! Ты мне писал — "уедем"? Я, может, все время этого ждала.

— Ну, что за бега? — натянуто улыбнулся Иса. — Такие дела сразу не решаются.

— Решаются! — упрямо перебила Гульнара. — Хватит с меня! Ты скажи прямо: поедешь или нет? Или я обратно сейчас пойду. Другие найдутся, сам видел.

Иса стоял на тропинке, выковыривал камешек носком похоронного ботинка. Ему было жалко отпускать Гульнару, но и решать он сейчас ничего не хотел: ночь на дворе, да и эти, что дерутся... Из-за нее дерутся, из-за стервы — а она к нему, к Исе, сама просится. Потому что он, Иса — не какой-нибудь там русский. Он в шляпе и с чемоданом, на него положиться можно. А Кадам — что? Темный человек, нищий. Кроме своих барсов и козлов ничего не видал. А на кой Гульнаре эти барсы? Ей культурный человек нужен, городской.

— А Кадам как же... — тихо сказал Иса. — Он ведь мне брат.

— Трус ты! — почти прикрикнула Гульнара. — Что ты знаешь? Я сегодня чуть с ума не сошла... Да что тебе говорить! Ты мужчина — выбирай: или сегодня...

— Так ночь, — привел возражение Иса.

— Ну и что ж, — уговаривала Гульнара, — что из того, что ночь! Кадам завтра вернется — поздно будет, сам знаешь. Так что, берешь ты меня с собой? Значит, едем? Куда ты, туда и я.

— А Кадам... — пробубнил Иса. — Это же нехорошо... Я ему пальто привез.

— Одному всегда хуже бывает, чем другому! — яростно выкрикнула Гульнара. — Этому ты в Берлине в своем не выучился? Пальто Гульмамаду оставишь, он передаст.

— И тебе тоже привез, — не унимался Иса. — Как же так...

— Ну, привез, привез, молодец, — успокоила его Гульнара. — Потом...

— Нет! — вдруг резко обрубил Иса. — Хватит тут командовать! Я сказал "сейчас" — значит, сейчас! Ставь давай чемодан. Гляди!

Распутав на чемодане бельевую веревку, Иса вытянул из кармана связку ключей, пощелкал замками и откинул крышку.

— Это тебе, — сказал Иса, выбрасывая из чемодана чулки, косянки, ночную сорочку. Он был похож сейчас на Леху, потрошившего рюкзаки.. — Гляди! В Берлине брал.

Гульнара прикинула прозрачную сорочку с кружевцами.

— Так ведь все видно будет! — сдавленно воскликнула Гульнара.

— Еще другой чемодан есть, — сообщил Иса. — Плащ там тебе, а мне костюм, жилетка. Бутылка есть, как подымешь — музыка играет... Ну, как?

Гульнара молчала, с опаской поглядывая в сторону Кадамовой кибитки.

Тогда Иса извлек из внутреннего чемоданного кармана нечто, аккуратно завернутое в вафельное солдатское полотенце. Гульнара подошла вплотную и наблюдала цепко. А он, торжественно развернув полотенце, достал из сердцевины свертка большую баварскую трубку с белым фарфоровым чубуком, расписанным цветами, с шелковыми шнурками, свешивающимися с мундштука.

— Тоже тебе! — с гордостью сказал Иса и протянул трубку Гульнаре.

— Это что? — спросила Гульнара изумленно.

— Что? — переспросил Иса. — Трубка! Не видишь, что ли...

— Так не курю я! — с сожалением сказала Гульнара.

— Ничего, — сказал на это Иса. — Закуришь. В Берлине все женщины курят, в столовых и вообще. А мы, что — хуже, что ли? Давай прячь!

Гульнара бережно опустила трубку в глубокий карман платья.

— Складывай и пошли, — распорядился Иса, позванивая ключами. — Лебедя-то положи!

Гульнара подняла с земли выпавшего из чемодана раскрашенного фаянсового лебедя-копилку с оранжевым клювом и голубыми крылышками.

8.

Капли крови часто катились из рассеченной брови Андрея Ефимкина. Леха понимал кое-что в боксе, был осторожен и избегал встречных ударов. Ефимкин, напротив, полностью полагался на свою бычью силу и махал руками, как заведенный. Несколько его ударов достигли-таки цели: раздавленная губа Лехи и мгновенно заплывший глаз были тому наглядным свидетельством.

Теперь Леха не шутил и не дразнил своего противника. Понимая, что физический перевес явно на стороне Ефимкина, он хотел утомить, вымотать тяжелого и неповоротливого зимовщика. Это ему удалось: Ефимкин тяжело дышал и передвигался с трудом. Но и Леху держала на ногах не столько спортивная выдержка, сколько страх перед врагом: неповрежденный глаз Ефимкина источал такую злобную ярость, что Лехе не оставалось ничего иного, кроме как держаться. Упав он — и Ефимкин задушил бы его или забил до смерти.

Наконец, собрав все силы, Леха двинул Ефимкина снизу в челюсть — и попал. Противно лязгнув зубами, Ефимкин бревном повалился в ручей.

Ледяная вода привела его в порядок. Перебравшись через ручей на четвереньках, он поднялся на другой берег и побрел прочь. Он проиграл — это было ясно им обоим.

Потеряв Ефимкина из виду, Леха наклонился над ручьем и с трудом умылся. Тело болело и ныло — Ефимкин несколько раз

достал Леху ногой.

В Кадамову кибитку Леха вернулся, придерживая пальцами отвисшую нижнюю губу. В комнате было темно — лампа погасла. Ощупью добрался он до достархона, наткнулся на спящих Люсю и Володю, чертыхнулся: нехватало только свалиться в темноте и вышибить пару зубов. Только этого и нехватало.

— Гульнара! — шепотом позвал Леха. — Гульнара!

Никто не ответил ему.

Улыбаясь, вытянув руки, Леха пробрался в дальний угол комнаты. Опустившись на колени, он тщательно, метр за метром обшарил ладонями пол — никого. Тогда он вернулся к достархону, нащупал спички и зажег лампу.

Гульнары не было в комнате.

Леха еще раз потерянно оглядел комнату, потер кулаком гудящий лоб и сел на кошму у заставленного едой и вином достархона. Его немного познабливало, он налил себе полную пиалку коньяка, выпил и задумчиво уставился в пустой угол.

Повременив, решительно налил еще.

— Вышла... — пробормотал Леха. — Куда вышла...

Скрип двери прервал горькие Лехины размышления. Радостно, с облегчением оглянулся он на дверь.

На пороге стоял Ефимкин.

— Ты что, еще хочешь? — спросил Леха, не поднимаясь. — Гад такой...

— Водку давай, — мрачно произнес Ефимкин.

— А? — недоуменно спросил Леха.

— Я бутылку свою здесь оставил, — пояснил Ефимкин. — И закуску.

— А, — посветлел Леха. — Так ты садись, елки-палки!

— Чего садись-то, — взглянул на Леху Ефимкин. Бровь его, пропитанная почерневшей кровью, вздулась бугром.

— Да иди! — настойчиво пригласил Леха. — Одному чего пить-то?

— Это да, — согласился Ефимкин. — Баба-то где?

— А черт ее знает, где! — засмеялся Леха. — Нету!

— Тогда другое дело, — присел Ефимкин рядом с Лехой. — Чего ж мы тогда с тобой бились?

— Да ладно... — сказал Леха. — Давай, что ли! — и придвинул Ефимкину пиалу.

— Со знакомством! — степенно произнес Ефимкин. — Андрей я...

Бери закуску-то!

— Да я беру, — сказал Леха. — Как ты думаешь — куда она делась?

— Кто ж ее знает! — рассудительно заметил Ефимкин. — Это тебе, брат, не Россия. Тут у них все не по-людски.

— Может, она испугалась? — предположил Леха.

— Да какой там испугалась! — запротестовал Ефимкин. — Упустили бабу! Чего зря гадать...

— А ты давно ее знаешь? — спросил Леха.

— Кого? — уточнил Ефимкин. — Ее-то? Да полгода.

Мужчины замолчали. Ефимкин вскрыл перочинным ножом банку тушонки и вывалил ее содержимое на круглую лепешку.

— Ты сам местный, что ли? — спросил Леха.

— Какой там местный! — ответил Ефимкин с надрывом. — С России я, с Пензенской области!

— А местным здесь, вроде, ничего живется, — неуверенно сказал Леха.

— Да ну! — опроверг Ефимкин. — Им что? Мяса от пуза — и весь бестроган. Вон мужик ее, Гулькин, к примеру. Ему что? Ушел в горы — и сидит там... Конечно, ему хорошо! — неожиданно заключил Ефимкин.

— Что ж хорошего? — усомнился теперь Леха.

— Да брось ты, ей-Богу! — с чувством посоветовал Ефимкин. — Я здесь уже полгода сижу, знаю... Каждый человек на своем месте должен проживать, где он родился — и будет ему хорошо.

— Ну, на одном месте сидеть, — возразил Леха, — тоже, знаешь ли, удовольствие!

— Удовольствие! — криво усмехнулся Ефимкин. — Это все, парень, болтовня. Я вон утром сюда приперся — нутро аж все пело: удовольствие! Вот, думаю, хорошо-то: с бабой время проведу, выпью водки, а утречком — назад... Вот и выпил.

— Так уж вышло, — сказал Леха хмуро. — Ты уж меня извини.

— Чего там, — сказал Ефимкин, разливая. — Дай лучку-то!

9.

Гульмамад никогда не тратился ни на засовы, ни на замки. Кибитка его была открыта для тех, кто хотел войти в нее, и ничто этому не препятствовало.

Войдя к Гульмамаду в поздний час, Иса с Гульнарой были усажены, в соответствии с правилами хорошего тона, точно против двери, лицом к ней. Вопросов им никаких не задавали: сами расскажут, если сочтут нужным, зачем пожаловали ночью, с чемоданом.

Чувствовалось, однако, что не все в порядке с этим поздним визитом. Слишком уж безразлично глазел по сторонам Гульмамад, слишком хмуро поглядывала на гостей Лейла, слишком старательно драила казан Айша, перевернув его кверху брюхом в кухонном углу. Только древняя мать Гульмамада вела себя вполне естественно. Сидя на кошке, она покуривала свернутую из газетной бумаги махорочную сигарету и поплевывала в костерок, тлевший посреди кибитки. Старухе было очень много лет, никто точно не знал — сколько. Платье ее украшали серебрянные монеты, тяжелые серебряные серьги низко оттягивали мочки ушей, а на широком пояса тускло светилась серебряная же пряжка с овальным сердоликом. Большое лицо старухи было сухо и морщинисто, маленькие, подвижные ладошки — коричневые. С любопытством переводя взгляд с Исы на Гульнару, старуха со вкусом потягивала махорочный дым и молчала — она уже все сказала на своем веку.

Лаконичное объяснение Исы "туристы, мол, пришли, ночуют у Кадама" было принято хозяевами, как промежуточное. Кадамова кибитка — не дворец, но можно там и вдесятером переночевать с удобствами, это каждому ясно.

— Туристы, — повторил Иса, — ну, да... Пускай спят у Кадама.

— Пускай! — безразлично согласился Гульмамад, глядя в потолок.

— Мы здесь переночуем, а завтра с утра уедем в Кзыл-Су, — сообщил Иса. — Так я решил.

Гульмамад перестал зыркать по сторонам, покосился на Ису холодно.

— Кадама не дождетесь? — спросил Гульмамад.

— Поедем, — сказал Иса. — Чего ждать-то...

— Может, передать ему что? — снова спросил Гульмамад и взглянул на Лейлу, открывшую было рот, свирепо.

— Да-да! — оживился Иса. — Пальто передай. Скажи — Иса привез. Передашь?

— Скажу, — сухо пообещал Гульмамад. — Почему не сказать?

— А еще чего ему передать? — отодвинувшись подальше от мужа, крикливо спросила Лейла. — Когда обратно приедете?

Гульмамад, кажется, был доволен прямым вопросом жены — зря она от него отодвигалась опасливо.

— Не приедем мы, — твердо сказала Гульнара. — Мы в Кзыл-Су останемся. Так и скажи, если хочешь.

В кухонном углу Айша, посыпав казан песком, терла с такой силой, как будто хотела проскрести дырку в днище. Скрип песчинок о металл, да еще задумчивое сопенье Гульмамада наполнили комнату.

До старухи тем временем дошел смысл сказанного. Она с великолепным, детским любопытством уставилась на Гульнару, сидевшую к ней вполоборота. Поза Гульнары, однако, не удовлетворила старуху. Желая получше рассмотреть гостью, она дернула ее за рукав, заставляя тем самым повернуться к себе лицом.

Старуха изучала Гульнару весело и открыто, словно бы ей, старухе, все-то было дозволено в этом мире, словно бы она глядела на земные предметы уже из иной, вовсе непостижимой сферы.

Гульнаре неловко было под этим взглядом — легко раздевающим, отслаивающим мясо от костей все с той же до идиотизма веселой беззаботливостью.

А старуха вдруг вздернула редкие седые бровки и, чуть открыв щель рта, кивнула головой в сторону Исы. Чего-чего, но осуждения нельзя было прочесть на лице старухи. Слишком она была стара — даже для того, чтобы осуждать.

Как бы защищаясь от нечистой силы, то ли задабривая ее, Гульнара вынула из кармана баварскую трубку и показала ее старухе. Та коротким движением протянула коричневую лапку и схватила трубку.

Мужчины ничего этого не видели — они были заняты другим: Иса демонстрировал Гульмамаду набор открыток-репродукций с картин Дрезденской галлерей. Глаза опешившего Гульмамада, рассматривавшего изображения разлегшихся обнаженных женщин, сверкали темным огнем, пунцовая борода подрагивала. Могучие формы, столь излюбленные мастерами эпохи Возрождения, вызывали одобрение щуплого Гульмамада, но он пытался скрыть свои чувства. Он начисто забыл и о Гульнаре, и об Исе,

и о цели их прихода в его дом. Розовое мясо давно истлевших натурщиц, кое-как прикрытое шелком и бархатом, вызывало в его душе сложные ассоциации, связанные с его собственной жизнью, с Алтын-Кииком, с Лейлой и детьми. А Иса торжествующе трещал пачкой открыток, перетянутых аптечной резинкой, и протягивал Гульмамаду все новых и новых удивительно толстых и чистых женщин, лежащих на траве и на кушетках, с круглыми ляжками, с сытыми отвисшими животами, с грудями, способными прокормить целый выводок детей. Открыток с худыми или вполне одетыми женщинами в Исовой пачке не было вовсе.

Старуха тоже заинтересовалась заморской диковинкой: поднеся баварскую трубку близко к глазам, она поворачивала ее и так, и этак и рассматривала со вниманием. Она, наверняка, не догадывалась о назначении этого странного предмета: на Центральном Памире курительные трубки не в ходу. Повертев трубку, она прицепила ее за шнурок к серебряной монете на груди своего платья и, выпростав руку из широкого рукава, остро и резко толкнула Гульмамада в бок. Не ожидавший ничего подобного Гульмамад медленно повернулся к матери и поглядел на нее бессмысленно. Баварская трубка не интересовала его сейчас, и старуха не интересовала. Открытки интересовали его, открытки Исы, и он был недоволен тем, что мать так некстати отвлекла его от них.

Тем не менее, он продолжал смотреть на мать. Он постепенно возвращался из замечательного незнакомого мира в мир своей кибитки, и видел перед собой полубезумную старуху, забывшую умереть. Смотрел на нее и Иса, и Гульнара смотрела.

Старуха довольно усмехнулась — она оказалась в центре внимания, и это немного позабавило ее.

— Дай! — прошептала Гульнара и потянулась к трубке. — Давай сюда!

Быстро протянув руку, Гульнара отцепила свою трубку от старухиной монеты, вытерла подолом и убрала в карман.

Гульмамад, не желая далее разбираться в том, что это так развеселило его мать, вернулся к Исе и его открыткам.

А старуха вдруг почувствовала невыносимую усталость. Она, вздохнув, закурила сигарку, закрыла глаза и застыла. Ей хотелось немного отдохнуть.

Аиша дочистила казан и сидела теперь праздно, положив ру-

ки на острые колени. Она была похожа на Гильмамада, но это сходство еще не вредило ей по молодости лет.

Досмотрел открытки и Гильмамад, и теперь водил в задумчивости пальцем по узорам кошмы.

— Стелить будем, что ли? — сухо справилась Лейла у мужа.

Гости поднялись, вышли из кибитки на воздух. Лейла с Айшой принялись стелить постели — это их дело. Деловито разобрав стопку одеял, сложенную вдоль стены, против двери, женщины резко взмахивали ими в воздухе, расправляя. Вся тесная комната была наполнена пестрым реяньем одеял, словно бы крупные, яркие птицы слепо метались по этой комнате, бились о стены и не могли найти выхода.

Опершись о косяк, Гильмамад стоял в дверях, наблюдая за яростной работой женщин.

— Ну, ну, — сказал Гильмамад, дождавшись перерыва в реянье и пляске одеял. — Ай-яй-яй! Гульнара уезжает с Исой.

Ничего нового он не сообщил жене и дочери — он просто как бы давал им разрешение высказаться, наконец-то, на эту тему.

— Я Кадаму говорила, — всердцах взмахнула одеялом Лейла, — отправь ее, отправь! Жена она тебе или кто?.. Не послушался. То ли святой, то ли чудной.

— Ну и хорошо, что едет, — вставила Айша. — Каждому только лучше.

— Его отец убил бы ее, — продолжала Лейла. — И этого, в плаще, тоже. Я-то знаю...

— Пусть он Исе спасибо скажет, — вынес суждение Гильмамад. — Сорняк — с поля долой.

— Много ты понимаешь — "долой"! — крикливо не согласилась Лейла. — Ишь, рот разинул — картинки ему показали. Одно мясо — разве это женщина! Тьфу!

Жизнь крепко потрепала жену Гильмамада. Никто бы не узнал в ней прежнюю пятнадцатилетнюю Лейлу с "золотыми бровями", с браслетами на тонких золотистых руках — ни сам Гильмамад, ни другие какие люди, имевшие к ней касательство тридцать пять лет тому назад.

— Рот зачем открываешь попусту! — прикрикнул Гильмамад. — Мясо... Ну, и мясо! Они, небось, денег получают не как мы с тобой. На работу — на мотоцикле, за керосином — на мотоцикле. А бархат один сколько стоит!

— Где им стелить? — спросила Айша.

— Где, где... — ворчливо подсадовал Гульмамад. — Мужчинам — здесь, женщинам отдельно. Успеют!

— Как же Кадам один-то будет? — спросила Лейла, взбивая подушки. — А хозяйство?

— Всем лучше будет, — примирительно заметил Гульмамад. — Кадаму такая женщина разве годится?.. А Иса-то: киргиз, не киргиз. Шляпу надел с перьями.

— Говорила я, говорила! — взмахнула одеялом Лейла.

— Замолчи! — оборвал ее Гульмамад. — Не в свое дело зачем лезешь?

— Как же не в свое, — возразила женщина. — Друг он тебе или нет? И отцу его ты кое-чем обязан... Иди, зови их — я не пойду.

Гульмамад плюнул и вышел из комнаты. Лейла разгладила одеяла и прикрутила фитиль керосиновой лампы.

10.

Солнце перевалило горный хребет, и сразу стало светло. Тень не растаяла, не рассеялась — ее просто смело одним мощным ударом хлынувшего из-за гор света. Звезды исчезли вмиг, словно бы накрытые синим платком с желтой бахромой по одному краю.

Кадам подымался по тропе, круто уходящей в гору. Конь его с трудом карабкался по камням, дышал коротко и часто. Брюхо коня опало, на боках его, ближе к паху, темнели припотевшие впадины. Три собаки Кадама, связанные одной веревкой, резко бежали сбоку от тропы. Они бежали, уткнув носы в землю, время от времени поднимая головы — взглянуть на рыжие, еще влажные после ночи скалы.

Кадам ехал на охоту. Он поднялся довольно высоко: только скалы окружали его здесь, да кое-где корявая арча цеплялась корнями за камни, а ветвями — за небо.

Человек рассеянно смотрел перед собой и по сторонам, а природа внимательно наблюдала за человеком — своими деревьями, горами и небом. И не только четыре эти точки — Кадам со своими собаками — медленно ползли, перемещались по дну ущелья вдоль подножья хребта. Они были вовлечены в не постижимое и неохватное разумом движение — вместе с деревьями, самим хребтом, всей Землей, следующей в пустоте по своему

пути. Они были частью картины, составленной из редких деревьев, гор, неба. Не будь их здесь — композиция невозстановимо нарушилась бы, а это, если вдуматься, привело бы к искажению всей картины мира...

Кадам ехал на охоту. В этот рассветный час ему надлежало быть на дне ущелья — вот он и был здесь со своими тремя собаками и конем. Другие люди, связанные с ним или вовсе ему незнакомые, были расставлены по другим местам мира: в Алтын-Киике, в Кызыл-Су и дальше.

Почти достигнув границы снега, Кадам спешился и свел коня с тропы. Развязав курджун, он вынул из него сороку и аккуратно уложил тушку на середину тропы. Потом, изогнувшись в поясе и взмахивая руками, стал медленно кружиться вокруг птицы.

— Здесь начинается царство зверей, — монотонно, заученно напевал Кадам. — Я пришел сюда. Пустите меня, быстрые барсы и медленные медведи! Я хочу сразиться с вами и уйти. Пустите меня, деревья царства зверей, и вы, камни, держите меня на своих спинах... Я, Кадам, убивший сороку, сказал.

Сказав, Кадам сел в седло и поехал дальше. Убитая им сорока осталась на границе царства зверей.

— Хорошо одному

На хорошей дороге, — пел Кадам, чтобы не заснуть, —

А вдвоем лучше...

Еду, смотрю на деревья,

А деревья смотрят на меня.

— Чу! — крикнул Кадам и ударил лошадь каблуками.

— Скоро я убью киика —

Это очень хорошо.

Люди должны есть много мяса...

Еду, смотрю на небо,

А небо смотрит на меня.

Спустившись в каменистую ложбину, Кадам подъехал к реке. На берегу он освободил собак и, крепко хлестнув коня, въехал в поток. Собаки, помедлив, бросились вплавь. Их тут же подхватило и понесло водой — туда, где река сворачивала вправо и виднелся покрытый галечником небольшой выступ. Быстро несло собак, вертело.

Конь Кадама покачивался под напором воды. Вода доходила ему до середины брюха, высоко захлестывала ноги Кадама. Вдруг конь споткнулся, присел на задние ноги. Круп его совсем закрыла мчащаяся вода. Камнем ударило его, камнем. Камни эти мчат-

ся как ядра по дну реки. Вот и ударило его, ударило. Хорошо, конь крепкий у Кадама... Кадам привстал в стременах, вытянул завалившегося коня камчой по ушам. Конь вздрогнул, как от укола, рванулся вперед, вынес всадника на мелкое место.

Здесь ведь и погибнуть можно — и это в порядке вещей.

— Чу! — закричал Кадам, размахивая камчой.

Собаки уже выбрались на берег и теперь отряхивали воду, глядя на переправляющегося Кадама. Хвосты их были поджаты, лапы широко расставлены.

Кадам спешил на берегу, озабоченно цокая языком, осмотрел ногу своего коня. Бабку разбило камнем до крови, но кость была цела. Послужит еще конь Кадаму, послужит, если Бог даст.

Сразу за рекой, на плече крутого холма, Кадам заметил свежие следы кииков. Он разглядывал их вдумчиво, переползая на коленях от следа к следу, ощупывая пальцами чуть видные щербинки в каменистой земле. Потом достал бинокль из чехла и долго рассматривал склоны ущелья. Крупное стадо кииков паслось километрах в пяти дальше по ущелью. Кадам тщательно упаковал бинокль, щелкнул кнопками футляра и негромко свистнул собакам. Те молча, словно бы выпущенные из рогатки, помчались по следу. Стреножив лошадь, бросился к стаду и Кадам. Он бежал напрямик, чуть выше своих собак — чтобы как можно дольше не потерять их из виду.

Собаки, не сбавляя хода, домчались до стада, развернули его и погнали. Втроем насели они на скачущее последним животное — крупного самца с тяжелыми кривыми рогами. Самец скакал неровно, оглядывался на ходу и норовил поддеть преследователей рогами. Это еще больше разъяряло собак, отрывистый, гулкий их лай перешел в низкий хрип. Собаки отвлекали козла, набрасывались на него с разных сторон — и вот он уже отстал от стада, скачет один гигантскими прыжками, стараясь укрыться на крутизне. Ничего у него не получается — собаки обошли его с боков, загнали в узкую расщелину. Здесь козел чувствует себя в безопасности — зад его и спина защищены камнями, а спереди ему опасаться нечего: одна из собак уже испытала на себе крепость его рогов и теперь скулит, валяясь в стороне. Козел нагнул голову, выставив вперед рога, и поглядывает на остервенелых собак с презрением. Что они против его оружия?! Глупый козел.

Кадам давно уже потерял собак из виду. Задышавшись, он бегом поднялся по круче и прислушался. Вначале ему слышны были только удары его сердца. Сердце грохотало, и тело Кадама сотрясало от этого грохота. Отдышавшись, он повел головой вправо, влево — туда, где чудился ему собачий лай. Лая, однако, не было слышно, и Кадам убедился в этом с разочарованием. Потом он снова пошел вперед, стараясь ступать по камням как можно тише, чтобы не пропустить лая.

Наконец, он услышал. Лай донесся справа, из узкой и крутой щели. Лесть по камням напрямик было трудно, но Кадам спешил. Несколько раз он срывался, падал, потом сходу перебежал ручей и снова полез в гору.

В тупике щели собаки держали киика. Они охрипли от лая, совсем озверели. Одна бросилась к Кадаму, к ноге его — вцепиться. Кадам, не глядя, отшвырнул ее и потянул винтовку из-за плеча. Что тут целиться — расстояние пять шагов!

Глупый какой козел.

11.

Тяжело колоть арчевое полено на щепу, очень трудно: топор либо отскакивает со звоном, как от камня, либо застревает между искривленными и скрученными в жгут пластами дерева. Зато жар дает арча, как никакое другое дерево; только саксаул может с ним сравниться.

Справившись с арчевым поленом, Айша раздувала самовар возле отцовской кибитки. Гульмамад, Лейла и подросток Джура, устроившись кто как у глинобитной стены, терпеливо поджидали чаю с лепешками и остатков вчерашней шурпы. Время от времени они поглядывали на пустой перевал, то ли ожидая кого-то, то ли провожая.

— Уехали... — в который уже раз сказал Гульмамад и покачал головой. — Айша, чай будет сегодня?

— Как он хотел построить новый дом! — запричитала Лейла. — Первый год только об этом и говорил: ребенок да дом, дом да ребенок... Вот тебе и дом.

— Хотел, хотел! — воскликнул Гульмамад сердито. — Что он — умер, что ли? Построит еще дом, и сын будет у него. Ты, что,

всех детей на свете перерожала, что ли? Молчи! Всю жизнь таскалась с брюхом — а где они, мои дети? Вон, Джура один остался, да Айша!

— А Абдраим, а Муса! — возмутилась Лейла. — А Зара! Чтоб ты подавился собственными словами! Все, все ушли от тебя, все сбежали, куда глаза глядят! И Айша уйдет, и Джура...

— Джура не уйдет, — возразил Гульмамад и погладил сына по круглой голове. — Он еще маленький.

— Вон они! — радостно крикнул Джура, вертя головой под отцовской ладонью. — Вон они едут! — он был явно горд тем, что разглядел на гребне перевала две движущиеся человеческие точки — Ису и Гульнару. Отсюда, снизу, нельзя было определить, в каком направлении они движутся — в Алтын ли Киик, в Кыл-Су или в иную сторону пути.

— Такой хороший человек, такой добрый, — продолжала причитать Лейла. — Сын такого отца... Кому везет в этой жизни!

— Языком не мели! — окончательно рассердился Гульмамад. — Джура, неси кизяк! Что, перевала не видал? Айша, у тебя руки отсохли, что ли? Я вам всем покажу! Работайте! Зачем бестолку едите мой хлеб?

Высказавшись, Гульмамад извлек из-за голенища бутылочку с насваем, высыпал на ладонь щепотку зеленого порошка и забросил под язык. Руки его дрожали.

— Женщине что ни дай — все мало, — успокаиваясь, рассуждал Гульмамад. — Муж есть, дети есть, дом есть. Что еще надо? Ум у них короткий, а язык... Будет сегодня чай или нет?

12.

Кишлак сверху, с перевала, каким кажется маленьким! Белые пятнышки на зеленой траве.

На гребне перевала Гульнара остановила лошадь. Не слыша стука копыт за спиной, натянул повод и Иса. Гульнара, повернувшись в седле, холодно смотрела на кишлак под ногами. Об Исе она словно бы забыла, как будто его вовсе не было здесь, рядом с ней, или он проехал, не останавливаясь, и теперь находился вдали.

Итак, Алтын-Киик, Богом забытый кишлак в огромной долине. Вон, с краю, кибитка придурковатого Гульмамада, рядом —

Кадамова мазанка. Вернулся ли он со своим козлом? Знает ли уже? Ну, ничего: вернется — узнает. Гульмамад, трясая своей красной бородежкой, ему расскажет. А что он по дурачости забудет — того не упустит его Лейла. А Айша, глаз не спускающая с Кадама, и прибавит даже, чего не было. А луковый кавалер Андрей Ефимкин? Нечего о нем думать, сам пускай о себе позаботится. А туристы? Ну, да, туристы. Вон они, кажется, подходят к реке — три точки на сером фоне галечного русла. Куда это только тянет людей, куда несет их! Кто вбивает в их головы планы на завтрашний день, на ночь, на час! Вбивает — а потом выдергивает, как гвоздь из стены... Вот, принесло Андрея, потом Леху, потом Ису. И все сдвинулось со своих мест, поехало, поехало.

Бедный Леха. Не повезло ему, не повезло. В другой раз, наверно, повезет.

— Давай поедем, — сказал Иса негромко. — Чего время-то тратить? Решили же...

Кадам придет, привезет мясо — Ису встречать... Мясо сварит Лейла, разрежет Гульмамад. Вечером приедет в Кзыл-Су кинопередвижка, можно будет кино посмотреть. Андрей переночует в снеговой норе, Леха со своими — в палатке.

Так должно быть, так будет.

Хороший парень Леха, чудной.

— Ну, поехали, что ли! — настойчиво повторил Иса.

Гульнара молча отпустила повод, поехала прочь от края обрыва.

13.

— Гремит-то как! — подойдя к самой воде вслед за Лехой и Володей, сказала Люся. — Мальчишки, ничего не слышно...

Река была не особенно широка — метров тридцать, но быстра, непрозрачна. Поверхность ее, песочно-коричневую, словно бы изрезали лемехи плуга: мчащиеся пласты воды напоминали борозды. Ударяясь сразбегу о подводные камни, борозды эти вспенивались и раздваивались, а потом снова соединялись. Смотреть на бегущую воду было неприятно — кружилась голова и внезапное волнение захлестывало человека, и человек вопреки собственной воле начинал думать о случайной смерти, вдалеке от дома.

— Вот это она и есть, — сказал Леха, поправляя темные очки. —

Настоящая горная река... Красиво, а? — голос его звучал не вполне уверенно.

— Леха, не лезь! — тревожно попросила Люся. — Дна совсем не видно. Давайте лучше вернемся!

Леха не оборачивался, смотрел на воду.

— Или все вместе, — поддержал Люсю Володя. — Обнимемся за плечи и пойдем. Вес будет больше.

— Нет, — решил Леха, глядя на противоположный голый берег. — Я сам пойду, нащупаю брод.

— Вода — лед! — сказала Люся, опустив руку в воду.

Леха снял рюкзак, достал из него моток веревки. Бросив конец веревки Володе, другой конец он обмотал вокруг руки.

— Люся! — сказал Леха. — Я, наверно, подмокну. Вытащи мне вторые джинсы!

Балансируя на скользких неустойчивых камнях, Леха вошел в реку. Вода сразу достала ему до пояса.

— Обвяжись! — крикнул ему вслед Володя.

Не оборачиваясь, Леха сердито махнул рукой и в тот же миг, потеряв равновесие, провалился в яму, вымытую течением в дне.

14.

Кадам возвращался домой, к крупу его коня была приторочена туша киика. Чувствуя близость конюшни и скорый отдых, конь шел ходко.

Солнце еще не успело накаливать воздух и камни; утренние его лучи грели, но не обжигали. Влажная прохлада была приятна людям, животным и растениям. Безмятежно ехал Кадам, доверчивые сурки глядели на то, как безбоязненные зайцы выпрыгивали из-под копыт его коня и весело мчались в гостеприимные заросли арчатника. Все хорошо, все прекрасно было на земле в этот ранний час дня, все ново и празднично... И если большой киик ничего этого не видел — что из того! Охотник убил киика, вот и все. Киик мертв, и голова его свешивается с крупы Кадамова коня. И так, наверно, и должно быть.

Кадам остановился в ручье, бросил повод. Конь его жадно пил, припав губами к воде. Что-то насторожило его, он повел

ушами и поднял голову. Нет, успокоился, снова уронил голову и уже лениво потянул воду, с приятным, сильным звуком процеживая ее сквозь зубы... Сидя в седле, Кадам с удовольствием слушал, как пьет его конь. Потом, перегнувшись через переднюю луку седла, поймал ремешок повода.

За поворотом ущелья Кадам услышал рев реки. Люди на берегу насторожили его: нечего делать людям его кишлака на берегу реки в этот час. Горяча коня, он задержал повод, поскакал.

Гульмамад был там, и семейство его, и старик Курбан, и Дауд с Декханом. На камнях, у воды сидели Володя и Люся.

— Ай, Кадам! — окликнул Кадама Гульмамад. — Туриста унесли водой.

— Труп утащило в Таджикистан, — подошел Дауд.

— Лодка идет, где глубоко, — назидательно произнес старик Курбан, — человек — где мелко.

Люди всматривались в темные воды реки, как будто могли разглядеть что-либо на ее дне.

— Турист никого не позвал, — сказал Декхан. — Сам пошел.

— Чего там искать, — пожал плечами Дауд. — Это же не река — ступка.

— Они говорят — молодой парень, — покачал головой Курбан. — Брод искал... Они говорят — отдыхать сюда пришли.

Кадам подошел к туристам, постоял рядом с ними, угрюмо и молча глядя в реку, как в могилу. Потом, вздохнув, поднял с земли их рюкзаки и перебросил через седло своего коня. Огляделся, заметил запасные Лехины джинсы, поднял и их и, отряхнув от песка, сунул в один из рюкзаков.

Покончив с багажом, Кадам наклонился над Люсей, неподвижно глядевшей в воду, и качнул ее за плечо. Люся не обернулась. — Эй! Пойдем! — сказал Кадам.

— Не пойду, — Люся говорила скороговоркой, только губы шевелились, прыгали на неподвижном лице. — Не хочу. Не могу. Не пойду.

Кадам неумело, неловко потрепал ее рукой по плечу.

— Ну, пожалуйста, — не оборачиваясь и не изменяя тона, сказала Люся. — Не пойду. Не пойду.

Володя сидел рядом, глядел на Кадама искоса. Ему хотелось встать и уйти отсюда — от реки, от Люси и от этих людей, чужих и таких отвратительно безразличных — и скорей очутиться в Моск-

ве, в его комнате с занавешенным окном, учебными книгами и лампочкой над спокойной тахтой. Но Кадам звал Люсю, и Володе было неудобно перед этими людьми, что она не хочет подниматься с земли.

— Смотри, дочка, — еще ниже наклонился Кадам. — Это — река. Пустая! Вашего нет парня. Смотри! — рукой указал Кадам.

Люся, повинувшись, безразлично посмотрела на реку и опять опустила голову.

— Как звали его? — спросил Кадам. — Звали его как?

— Алексей, — сказала Люся.

— Алексей теперь далеко, — Кадам указал рукой вниз по течению реки. — Он там, а мы здесь. Ты могла бы быть там, и я. Любой! А Алексей — здесь. Да, да! Всегда так. Один умирает, другой остается здесь. Кто умирает — никто не знает. Понимаешь, дочка?

Люся кивнула головой. Она не вслушивалась в то, что говорил ей Кадам, сквозь гул реки она улавливала лишь отдельные слова, бившие, как острые камешки, в ее оцепенение.

— Теперь садись, — сказал Кадам, подведя своего коня.

— Я не умею, — оглянувшись, сказала Люся.

Дауд усмехнулся незаметно: не умеет — таких людей поискать надо!

— Тебе зачем уметь, дочка? — сказал Кадам, подсаживая Люсю в седло. — Ты сиди, а я поведу. И товарищ твой пойдет. Сейчас есть надо, потом спать... Я знаю!

Медленно шли люди кишлака вслед за Кадамом. Шествие это было похоже на похоронную процессию, открывал которую Кадам, ведущий в поводу своего жеребца. Так дошли они все до кишлака, и тогда процессия начала редать: люди расходились по домам. Только Гульмамад да Айша остались с Кадамом.

У своей кибитки Кадам помог слезть Люсе, отвязал рюкзаки.

— Иди в дом, дочка, — сказал Кадам Люсе. — Рюкзаки бери! — сказал Володе.

Загнал коня в конюшню и, заглянув в дом, позвал:

— Гульнара!

Никто не ответил ему.

— Гульнара!.. Где она?.. — обернулся к Гульмамаду. — У тебя? Чай им надо.

Гульмамад подошел к Кадаму, остановился перед ним.

— Пойдем, Кадам, — сказал Гульмамад и огляделся, отыскивая спокойное место. — Пойдем в конюшню.

Айша вынесла из Кадамова дома самовар, отколола топором белые щепки от полена. Взглянула в сторону конюшни, вслушалась. Сходила к ручью, набрала воды. Споро работала, быстро.

Внезапно из конюшни донеслось высокое, злое, звонкое ржанье Кадамова жеребца. Жеребец ржал долго, захлебчиво.

Айша подняла глаза, смотрела. В дверях конюшни показался Кадам, пересек двор и вышел за ворота. Гульмамад не пошел за ним, остался во дворе, Айша мельком взглянула на отца и повела подбородком в сторону уходящего Кадама. Гульмадад отрицательно покачал головой: пусть, мол, идет Кадам, если хочет. Пусть себе идет.

15.

Подъем начинался сразу за кибиткой Кадама. Кадам шел в гору по прямой, не разбирая дороги. Ствол винтовки, висевшей у него за спиной, цеплял за ветви кустарника. Роняя оборванные листья, вздрагивали потревоженные ветви. Кадам не обращал на это внимания. Он все поднимался, и вот уже не видно стало его кибитки за деревьями.

Он шагал, поднимался. Молодая, в руку толщиной березка возникла на его пути. Он не обошел ее стороной. Он крепко взял ствол двумя руками, словно бы хотел переставить деревце, убрать его со своего пути. Ствол упруго пружинил, вырывался из рук Кадама.

Широко расставив ноги, Кадам раскачивал деревце изо всех сил. Поскрипывал ствол березки, и влажно шелестела крона.

А Кадам все тряс — задыхаясь, зло. Не переставить деревце, не сломать. Только обойти.

Тогда Кадам ухватил ствол повыше, согнул у своего лица. Осторожно, бережно коснулся губами серебристой бересты. Щечкой прижался к стволу, потом лбом. Закрыв глаза, помедлив, взял ствол зубами — сначала мягко, потом сильнее, — и вот уже грызет дерево, и прокусывает губу в слепоте и в ярости, и струйка крови вытекает и неряшливо окрашивает серебристую, мягкую как замша бересту...

Пронзительно, настырно закричал удод, сидя в нескольких шагах от Кадама на камне. Кадам отстранил лицо от ствола, открыл глаза. Страдальчески смотрел человек на птицу, а птица с опаской наблюдала за человеком.

Медленно опустил Кадам ствол, повернулся и зашагал вниз. А удод удовлетворенно перелетел на дрожащую ветку освобожденного Кадамом дерева. На призывный крик удода прилетела деловитая самка, уселась рядом с самцом и принялась охорашиваться, чистя перья длинным изогнутым клювом.

16.

Самовар кипел во-всю. Кипящая вода клекотала под крышкой, из трубы бил дым с искрами.

Кадам сидел в углу двора, на чурбане. Как он вернулся с охоты — так и сидел: с винтовкой за спиной, в старых сапогах с самодельными галошами. Сгорбившись сидел Кадам, смотрел в землю.

Гульмамад устроился на корточках неподалеку от своего соседа, посасывал насвай и помалкивал. Что ему говорить? Он свое уже сказал.

Сняв трубу с самовара, Айша подошла к Кадаму со сбитыми, стоптанными туфлями. Поставив туфли на землю, она опустилась перед Кадамом на колени и стянула с него сапоги. Потом протянула к нему руку — давай, мол, Кадам, все что положено!

Кадам снял с себя ремень с пристегнутым к нему кинжалом и огнивом, снял винтовку и передал соседской дочке. Айша молча, с гордостью приняла все это и унесла в дом. Вернувшись во двор, унесла в дом и самовар.

— Ну, вот, — сказал Кадам Гульмамаду, подымаясь с чурбана. — Пойдем...

Они медленно пошли к дому Кадама — каждый порознь, каждый со своим — и вошли в него.

17.

Наутро провожали Люсю и Володю.

Подросток Джура вызвался подвезти их рюкзаки до перевала

на лошади. Рюкзаки были уже уложены, и Джура ждал, радуясь возможности проехаться верхом. Приятно проехаться верхом до перевала и обратно — вне зависимости от того, какой причиной вызвана эта прогулка.

— Мяса возьмите, — сказал Кадам. — Жареное мясо. Айша! Айша вынесла из дома пакет с мясом.

— Спасибо, — сказал Володя. — Спасибо вам...

— Ты, дочка, садись, — сказал Кадам. — Лошадь повезет. Потом тебе долго идти.

Кадам подвел к Люсе коня, придержал стремя. Люся вдруг всхлипнула без слез и поцеловала Кадама, поцеловала его куда-то в плечо. Айша, наблюдавшая издали, отвернулась и ушла в дом. Уезжают русские — и пусть себе едут. И нечего целоваться.

Вскочив на отцовского мерина, Джура поехал со двора. Поехала и Люся, и Володя зашагал, опираясь на новенький Лехин ледоруб. Глядя им вслед, Гульмамад с силой размахивал своей шапкой.

— Одни уходят, другие приходят... — надев шапку на голову, сказал Гульмамад. — Поедешь в Кызыл-Су?

Кадам отрицательно покачал головой — нет, он не поедет в Кызыл-Су. В Алтын-Киике его дом, здесь он останется.

— Мясо себе возьми, — сказал Кадам. — Испортится.

— Это несчастливый дом, Кадам, — Гульмамад кивнул в сторону Кадамовой кибитки. — Ты хотел строить другой, на месте отцовского... Хочешь, Айша поможет тебе.

Айша вышла из дома, встретила взглядом с Кадамом. Кадам глядел безразлично.

— Большая стала у тебя дочка, — сказал Кадам.

Айша улыбнулась, закрыла лицо краем платка.

История четвертая

НАЧАЛО

1.

Плотная стайка воробьев стремительно и круто спикировала из сочной синевы неба на круглую поляну — травяное пятнышко среди зарослей кустарника и деревьев. Словно бы в плотной ткани неба обнаружилась вдруг малая прореха, и птицы посыпались оттуда на землю коричневым градом. Приземлившись, воробьи с жадностью накинулись на кусочки хлеба, разбросанные по траве.

На краю полянки желтела крохотная мазанка-временка, крытая ветвями. Лопата валялась на земле у входа во временку и два кетменя — один целый, другой без черенка.

Сидя на камне, принесенном сюда неслучайно, Кадам занимался нужным делом: точил тяжелый и длинный кинжал дамаскской стали. Рукоять кинжала была обтянута черной кожей, темный клинок испещряли неровные узоры: цветы, листья. Кадам с нажимом проводил оселком вдоль острия клинка, прислушивался к высокому пению металла. Не отрываясь от дела, он поглядывал время от времени на Айшу, словно бы желая убедиться, что она на своем месте — как молодое дерево, росшее особняком от других посреди полянки, как мазанка и как лопата у входа в мазанку. Соседская дочка пекла лепешки в тандыре: перебрасывала комки теста с руки на руку, сбрызгивала золотисто-желтые кружки водой, накалывала их иглой, а потом звонко прищлепывала к раскаленной стенке печи.

— Так люди говорят, — продолжала Айша ранее начатый разговор. — Такой, мол, человек Кадам.

— Какой человек-то? — спросил Кадам, пробуя острие клинка на ноге. Он спросил без любопытства, просто так.

— Да такой, — сказала Айша. — Не такой, как все. Добрый

слишком. Не обижается ни на кого, не ругается... Ну, в общем, странный человек.

— Кто это говорит? — спросил Кадам, продолжая точить.

— Все, — объяснила Айша. — Все люди.

— Ну, верно, — согласился Кадам. — Каждый человек странный. А барс! А волк — тот совсем странный. Одну овцу унесет, а зарежет десяток. Зачем?.. Дерево тоже странное.

Воробьи склевали хлеб и теперь глядели на людей, словно бы прислушивались к их разговору. Птицы всегда смотрят на человека вопросительно, да и звери тоже.

— Дерево! — удивилась Айша, поднимая голову от тандыра.

— Потому что — красивое. Смотри! — Кадам указал рукой на молодое дерево посреди полянки. — Дерево — а красивое. Это хорошо, понимаешь? А люди бывают красивые — и плохие. Тоже странно.

— Они думают, что ты — не как все, — упрямо повторила Айша, — что у тебя голова больная. Они еще по-другому про тебя говорили, еще хуже... Они ведь ничего не знают!

— Пускай говорят, — сказал Кадам. — Каждый свое знает.

— А я тоже странная? — спросила Айша, помолчав. — Я вот не хочу быть странной — сама не знаю, почему.

— Ну, ладно, — сказал Кадам, усмехнувшись. — Тогда ты не странная. Ты хорошая. Хорошие редко бывают странными.

Поднявшись с камня, Кадам подошел к молодому дереву, придирчиво осмотрел, ощупал прямой ствол. Потом опустился на одно колено и начал рубить дерево кинжалом у самого корня. От точных, резких ударов слоистые щепки полетели веером. Дерево вздрагивало, будто спотыкалось.

Айша неслышно подошла сзади, глядела на Кадамову работу. Тяжелый нож с хряском врубался в нежную плоть ствола. Обойдя Кадама, Айша крепко вцепилась в ствол руками. Ногти ее побелели. Дерево билось в ее руках; она держала его намертво, как держат закалываемое животное. Она, не рассуждая, хотела быть причастной делу Кадама. Дрожь дерева передавалась ее рукам, ее телу.

Черный жук, как спелая виноградина, сорвался с кроны и шлепнулся на плечо Айши. Она, повернув голову, проследила за тем, как жук, цепко перебирая лапками, добрался до края плеча и улетел.

А дерево уже почти перестало биться. Рубить осталось чуть. Тогда Айша отпустила ствол, опустилась на корточки. Сверху вниз по стволу, к земле, спускались муравьи. Один попал в каплю выступившей смолы, никак не мог выбраться.

Все население дерева спасалось бегством.

— Кадам! — позвала Айша.

Кадам обернулся.

— Ты детей любишь? — спросила Айша. — Маленьких?

— Детей кто не любит! — сказал Кадам и ощупал проруб. — Звери тоже детей своих любят. Совсем как люди.

— А зверей любишь? — продолжала спрашивать Айша.

— Хм... — сказал Кадам. — Конечно.

— Что ж ты их убиваешь?

— Каждый своим делом занят, — сказал Кадам серьезно. — Я — охочусь! Охотник убивает зверя. Бывает наоборот. Это справедливо.

— Так у тебя ружье, нож, — неуверенно возразила Айша.

— У зверей зубы, когти, — объяснил Кадам. — Зверь сильнее человека. У Рахмета было ружье, а барс убил его... Принеси кетмень!

Кадам свалил дерево и теперь очищал ствол от тонких сучьев. Айша подошла, прижимая кетмень без черенка двумя руками к груди.

— Кадам! — снова позвала Айша. — А ты во Фрунзе был?

— Нет, — сказал Кадам, продолжая обрубать.

— А в Москве?

— Ты хочешь в город? — спросил Кадам, откладывая кинжал.

— Нет-нет! — торопливо сказала Айша. — Только посмотреть...

— На будущий год поедem, — сказал Кадам. — Дом вот построим...

— У тебя будет хороший дом, — сказала Айша, — Большой.

— У меня? — переспросил Кадам. — У нас... Айша!

Опустив голову, Айша медленно подошла к Кадаму. Она словно бы и не хотела идти, она хотела бы пройти мимо — но что-то властно притягивало ее к охотнику, и вот она стоит перед ним.

Кадам забрал у нее кетмень, бросил на землю. Взял за руки двумя своими и притянул, приблизил к себе. Теперь они стояли вплотную друг к другу. Кадам наклонил голову и, зажмурив глаза, как бы запоминая надолго, навсегда, вдохнул запах волос

соседской дочки. Еще вдохнул. И еще раз, глубоко.

Отпустив ее руки, он повернулся и, проходя мимо мазанки, поднял с земли второй кетмень и лопату.

— Пошли, — сказал Кадам. — Кетмень возьми. И черенок!

— Черенок? — Айша взглянула вопросительно. — Так он же без черенка.

— Ну, дерево это, — уточнил Кадам. — Палку.

Айша подняла ствол срубленного дерева и пошла сквозь заросли вслед за Кадамом — к развалинам дома его отца.

2.

И они разбирали развалины саманных стен, и отгребали мусор, а кирпичи, пригодные еще для дела, складывали в сторонке.

И разравнивали, утрамбовали площадку для строительства, и по сторонам ее вкопали четыре краеугольных камня.

И яму вырыли, круглую яму для добычи глины на кирпичи. И, опустившись в ту яму, смешивали босыми ногами глину с толченым кизяком — медленно, равномерно поднимали ноги, а потом опускали их, словно бы шагали на месте.

И жидкий саман наливали в деревянные формы, и ждали, когда он затвердеет, а потом раскладывали сырые кирпичи на солнце для просушки.

И жили они во времянке, на опушке кустарника, и стала женщиной Айша, и затяжелела. И Кадам, отец нерожденного еще на свет существа, ждал его прихода с радостью и тревогой.

А осенью, когда трава к утру покрывалась белым пушком изморози и делалась ломкой, стены их дома поднялись вровень с человеческим ростом. И все семейство Гульмамада помогало им, чтобы поспеть подвести стены под крышу до снега.

И когда дом был готов, первыми в него вошли Кадам и Айша, а потом Гульмамад с Лейлой, Дауд, старый Курбан и другие люди кишлака. А мать Гульмамада умерла к тому времени.

3.

Ранним морозным утром Гульмамад во дворе своей кибитки привязывал жеребца к станку — ковать. Джура помогал отцу:

держал веревку, тянул. Испуганный жеребец вырывался, справиться с ним было трудно. Весь снег во дворе был взрыт человеческими и конскими следами. Тяжелое дело — привязать жеребца к столбам ковочного станка.

Порывистый сильный ветер заверчивал снежную крупу, швырял ее в людей, в стены кибитки. Засыпанная снегом чуть ни по окна, кибитка казалась совсем низкой.

Воздух был ряб от снега. Плотные снежные комья, вылетающие из-под копыт жеребца, снизу вверх, как белые ракеты, пробивали покачивающуюся спираль падающего снега. Казалось, не будет конца этому снегопаду, соединившему небо с землей.

— Заводи! — закричал Гульмамад Джуре. — Ремень заводи!

Не дождавшись, он вырвал у Джуры из рук длинный кожаный ремешок, завел его за заднюю ногу жеребца и притянул, прикрутил к столбу.

Наконец, жеребец был привязан. Он тяжело, часто поводил боками, на губах его кипела пена и хлопьями срывалась в снег.

Спеша, Гульмамад подрезал копыто полукруглым ножом, наложил подкову и прибил ее гвоздями с четырехугольной шляпкой. Кончики гвоздей, прошедшие копыто насквозь, он аккуратно откусил щипцами. Ковка коня требует усердия и добросовестности.

— Можно я поеду с Айшой? — спросил Джура, дергая отца за рукав.

— Кадам поедет, — распутывая жеребца, сказал Гульмамад. — Нечего тебе там делать... Лошадь ему отведи. Как уедут — возвращайся вместе с матерью. Быстро, быстро давай!

Джура сел в седло, не достал до стремян. Жеребец шарахнулся под ним в сторону.

— Эй, Джура! — крикнул Гульмамад. — Скажи Айше... А, ладно, езжай. Мать все знает.

Скорчившись на спине жеребца, Джура поскакал к дому Кадама. Он и не заметил, как выскочил из кишлака — снег заметал так, что в пяти шагах ничего нельзя было разобрать. Небо работало как хорошо смазанная машина, легко работало. Казалось, надумай кто-то там наверху — и небо без усилия заработает еще лучше, и тогда снег повалит плотней и земля обрастет им, и прекратится жизнь... Проскакав метров триста, Джура столкнулся с Кадамом у самого его дома. Сидя в седле, Кадам затягивал ремень

поверх овчинной шубы.

— Подковали? — оборотился он к Джуре. — Давай коня быстро! Я в Кзыл-Су, за доктором. Началось...

Джура соскочил с жеребца, передал повод Кадаму.

— Беги к отцу, — наклонился к нему Кадам, — скажи ему. Понял? Скажи: началось у Айши.

Кадам хлестнул коня, исчез из глаз — даже топота не слышно было в белом месиве. Джура стоял, бессмысленно вглядываясь в снеговые бегущие ленты у своего лица.

Из дома вышла Лейла в чапане, накинутом на голову, подошла к сыну. Так они вдвоем и стояли, под снегом, и глядели в ту сторону, куда уехал Кадам.

— Ты замерз, сынок, — сказала Лейла. — Иди, погрейся.

— Как она? — спросил Джура.

— Иди, сынок, — сказала Лейла, поворачивая сына к двери.

4.

Кадам одвуконь скакал по улице Кзыл-Су. Подъехав к выбеленному домику больницы, он спешился, набросил повод на колышек забора и бегом поднялся на крыльцо. В темном коридоре не было ни души. Из кабинета врача, из-за полуприкрытой двери, пробивался серый свет непогожего зимнего дня.

Врач, русский старик, подкладывал дрова в печку. Подстелив газету, он стоял на коленях перед пышащей жаром дверцей. Он был в носках, большие его валенки, заткнутые за печку, дымилась.

Услышав шаги, врач, не поднимаясь с пола, оглянулся на Кадама и поглядел на него вопросительно.

— Акушерка где? — спросил Кадам. — Жена рожает. В кишлаке. Ехать надо, доктор!

— Рожает? — переспросил доктор, втискивая поленце в печку. — Вот и прекрасно, великолепно. Ты присаживайся, грейся — погода не балует... Звать-то как?

— Айша.

— Нет, тебя! — поправил доктор.

— Кадам, — сказал Кадам, стоя в дверях. — Ехать надо, доктор! Первый ребенок... Мать ее говорит — плохо, совсем плохо...

Давай поедем! Лошадь вторая есть, хорошая лошадь.

— Да ты погоди, погоди, — сказал доктор рассудительно. — Спешкой делу не поможешь...

— Акушерка где? — спросил Кадам и шагнул через порог, к доктору.

Доктор с грохотом бросил дрова на пол и поднялся поспешно.

— Слушай, — сказал доктор. — Слушай меня, человек хороший. Акушерка уехала принимать роды на стойбище. Кенеша знаешь, чабана? Вот к нему. Сейчас оттуда не выберешься — все занесло. Ты слушай! Ждать надо, понимаешь? Ждать!

Кадам кивал головой, не хотел понимать, не понимал.

— Нельзя ждать, — сказал Кадам, стоя посреди комнаты. — Первые роды. Ее мать говорит — совсем плохо, может умереть. Ты доктор — поехали в Алтын-Киик. Надо помогать!

Тихонько, тихонько доктор стал огибать Кадама, подбираясь к двери. Ноги его, обутые в носки, ступали бесшумно.

— Я один здесь дежурю, — прожурчал доктор. — Мне по закону уезжать никак не положено. Ты ведь сам подумай: я уеду, а кто-нибудь придет...

— Кто ж поможет? — отступив к двери, потерянно спросил Кадам. Он, действительно, не мог взять в толк, кто ж ему теперь поможет, если акушерки нет, а доктору запрещено законом. — Мать говорит — умрет она.

— Ну, зачем же так! — отступая к печке, возмутился доктор. — Мамаша ее просто волнуется, вот и все. Когда я сам, милый ты мой человек...

— Значит, не поедешь, — перебил его Кадам.

— Никак невозможно! — зачистил старик и, тоскливо поглядывая на заслоненную Кадамом дверь, забегал по комнате. — Вот-те святой крест... Но ты сам-то не волнуйся, иди отдыхай. А как акушерка вернется — сразу поедете.

— Мне зачем отдыхать, — махнул рукой Кадам. — Лошадь пусть отдыхает... — и вышел из комнаты.

5.

Полки магазина, сколоченные из струганых досок и украшенные по ребру газетной бахромой, ломились от товаров. Все здесь было: соль, китовое мясо в томате с горохом, гвозди и

керосин. Были сапоги кирзовые, граненые стаканы и книга с картинками "Вперед, к победе коммунизма!" Были амбарные замки и один набор гинекологических инструментов. Много чего было.

Детских одеял не было. Пробившись к прилавку, Кадам попросил одеяло для взрослых — но не оказалось и такого.

— Для детей куклы есть, — сказал продавец. — Как живые. Глаза закрываются. Показать?

Но Кадам не захотел смотреть, как у куклы закрываются глаза.

В магазине толпилось человек тридцать. Немногие из них пришли сюда за покупками. Люди глазели на товары, курили, разговаривали, пили водку из граненых стаканов в углу магазина, на мешках с солью. Здесь было тепло илюдно — что еще нужно общительному человеку?

Кадама узнали, заговорили все разом:

— Сын, дочь? Доехал как?

— За акушеркой я, — сказал Кадам. — Шесть часов ехал.

Вперед протиснулся почтовый служащий в шубе и новой форменной фуражке с лакированным козырьком, натянутой на уши. Давая ему дорогу, окружающие расступились с почтением.

— Акушерка на стойбище, — сообщил почтарь. — Жена Кенеша рожает... Кто едет с тобой в Алтын-Киик?

— Никого нет, — сказал Кадам.

— Это не годится! — решил почтарь. — Помогать надо. Пускай русский врач едет, чего ему тут сидеть.

— Ну-ка,пусти! — Кадам отодвинул почтаря и двинулся к двери. — Русский... Аллах мне поможет!

— Вертолет надо вызвать, — предложил кто-то.

— Вертолет в такую погоду разве пойдет? — возразили ему.

Кадам обернулся от двери: вертолет. Ну, конечно, вертолет. Надо вернуться к этому русскому старику в больницу, попросить. Он вызовет.

— Ушел! — с осуждением сказал почтарь. — Сумасшедший он все-таки, этот Кадам. Ему все помогают, а он... Карим, беги на почту. Звони в город — скажешь, я велел. Прямо санавиацию вызывай!

— Да не полетят они, — усомнился Карим. — Зря только бегать.

— Давай, беги! — пихнул Карима почтарь. — Помогать надо!

— Что такое! — вполголоса возмущился какой-то дед. — Или киргизские женщины разучились рожать? — Дед с ожесточением запихивал в наволочку сахар и хозяйственное мыло. — Ишь, ты!

— Никто не разучился! — раздраженно сказал почтарь, не терпевший возражений. — Тебя вон, дед, мамка рожала без акушерки — ты и вышел такой дурной.

— Ну и дурной, — не стал спорить с начальством дед. — Моя старуха семнадцать раз рожала, почти что двадцать. Как ей рожать — я аркан к потолку привязываю, а она тянет изо всех сил, дергает... Теперь так уже не умеют, — с досадой заключил дед и подался к выходу.

В дверях он столкнулся с аккуратным стариком, одетым хоть и бедно, но не нище: серый его ватный халат давным-давно утратил изначальный цвет и форму, а мышинного цвета красноармейская шапка-ушанка, отороченная вытертым бобриком, истончала от носки. Услужливо придержав дверь перед выходившим чадолюбцем с наволочкой, старик шагнул в магазин и бочком, бочком протиснулся к прилавку. Оглядев полки, он поманил продавца.

— Вельвет есть? — обратился старик к продавцу.

— Опять ты со своим вельветом! — отмахнулся продавец. — Погоди, ей-Богу...

— Что такое? — удивился старик.

— Жена Кадама рождает, — объяснил продавец.

— Какого? — уточнил старик. — Охотника?

— Ну да, — сказал продавец. — Акушерки нету.

— Хороший человек Кадам, — задумчиво покачивая головой, сказал старик. — Акушерки нету?

В ответ продавец махнул рукой и плюнул на пол.

— Зачем сердиться? — миролюбиво сказал старик и, нашарив в кармане кусок сахара, сунул его в рот. — Пускай Мурза едет. Четыре года назад его двоюродная сестра помогла родить моей невестке.

Почтарь обернулся к старику, посмотрел на него строго.

— Мурза? — спросил почтарь. — Старик дело говорит. Пошли к Мурзе!

Люди, толкаясь, высыпали на улицу. Пошел и сердитый продавец. Выйдя из магазина вслед за замешкавшимся стариком, он запер дверь на большой висячий замок.

Прямо против магазина -- только улицу перебежать -- светилась ярким одеколонным светом парикмахерская. В парикмахерском кресле лежал, блаженно разбросав ноги в хромовых сапогах, председатель сельсовета Саид-ака. Парикмахер Мурза обильно намыливал ему щеки.

— Ай, Мурза! — войдя стремительно, сказал почтарь. За ним в парикмахерскую втиснулось человек десять, остальные топтались на улице. — Где твоя сестра? Жена Кадама рожает.

— Какого Кадама? — справился Мурза, продолжая безмятежно намыливать в тесноте. Саид лежал в кресле, прикрыв глаза и не шевелясь. — Я что-то не помню.

— Ну, охотник, — пояснил почтарь. — Волосы светлые, короткие.

— А, — сказал Мурза. — Теперь помню... Дома сестра.

— Давай, поезжай, — скомандовал почтарь. — Она помогать будет. К ночи там будете.

— Слушай, сохнет! — открыв глаза, ускорил Саид-ака отвлекшегося Мурзу. — Сохнет пена!

— Лошадей где взять? — спросил Мурза, правя бритву на ремешке.

— Я, может, сельсоветскую дам одну, — подал голос из глубины кресла Саид-ака. — Брей давай!

— Ну вот, — заключил почтарь. — Одна уже есть... Пошли, Мурза!

— Как пошли! — приподнялся в кресле Саид-ака. — А бриться?

— Да ладно тебе! — урезонили Саид-аку из толпы. — Сам добреешься.

— Женщина, что ли?

— Твой отец носил бороду.

— Слушай, бриться надо! — настаивал на своем Саид-ака.

— А ну, давай сюда! — чуть ни силком отобрал бритву у Мурзы огромный, с недельной щетиной на щеках малый в кожаном пальто и кожаной шапке, завязанной тесемками под подбородком. — Я знаешь как брею!

— Правильно! — поддержали из толпы. — Он же в армии научился.

Доброволец засучил кожаные рукава и решительно подошел к Саиду с бритвой в руке. Умиротворенно закрыв глаза, Саид-ака вытянулся в кресле.

— Одеколон не забудь! — крикнул подталкиваемый к двери

Мурза. — Квасцы в банке! Кровь останавливать, знаешь?

— Бумажкой лучше заклеить, — возразил доброволец, приступая.

— Лошадь вторую где взять? — выйдя следом за почтарем, спросил Мурза.

— Где где... — поморщился почтарь. — Свою возьми.

— Нет у меня! — остановился Мурза. — Пастух я, что ли?

— Я поеду, — сказал старик и поглубже нахлобучил на лоб свою шапчонку. — Вон у меня лошадь.

— Тебе зачем беспокоиться, аксакал? — спросил почтарь. — Вон как метет... А я вертолет вызвал, — загнул палец почтарь, — Мурзу послал, — загнул другой. — Людям помогать надо!

— Кадам пригласил меня на свадьбу в свое время, — уклончиво сказал старик.

6.

Буран кончился, редкие хлопья снега падали теперь вертикально — не заметало. Кадам спешил, погонял. Подставная лошадь легко вынимала ноги из глубокого снега.

На гребне перевала Кадам остановился. Долго, пристально глядел он назад, вслушивался. Нет, никто не едет вслед за ним, и вертолет не летит... Ущелье было пусто, словно все здесь вымерло, все схоронено в голубом вечернем снегу — и зверье, и птицы.

Кадам отпустил повод, стал спускаться в обрыв.

Чуя конец пути, лошади шли ходко, скользили. Кадам не сдерживал их: подковы свежие, не упадут. Подъехав к своему дому, он спешил и завел лошадей в конюшню.

Конюшня подстроена была к стене дома, и всякий домовый звук был слышен здесь отчетливо. Кадам привалился к плечу своего жеребца, слушал со страхом и с надеждой. Тихо за стеной, как будто и там все завалено снегом.

Дремали, опустив головы, усталые лошади.

Кадам вышел из конюшни. Вдруг за его спиной рванулся, ударил о стенку стойла испуганный жеребец: кричала Айша. Она кричала сквозь зубы, хрипло, страшно.

Кадам бросился к двери и на пороге столкнулся с Гульмамадом.

— Что! — выдохнул Кадам.

Гульмамад отрицательно кивнул головой.

— Акушерка где? — спросил Гульмамад.

— Нет, — сказал Кадам. — Нет! — закричал Кадам. — Никого нет! Нигде! — Стонала, захлебывалась Айша за дверью. Кадам схватил Гульмамада за ворот халата, тряс его, кричал. — Я сам есть, руки у меня есть, глаза есть! Больше ничего нет!

Отпустив Гульмамада, Кадам прислонился головой к его плечу. Стоял молча, не шевелясь. Потом отстранился медленно.

— Иди, поспи, — сказал Гульмамад. — Ты не виноват.

— Виноват, — прошептал Кадам. — Все люди виноваты. Никто не пришел ко мне, понимаешь ты? Волки пришли бы, волки!

— Иди, поспи, — повторил Гульмамад. — Тебе спать надо.

— Я здесь посижу, — сказал Кадам, вдруг успокоившись. — Не хочу смотреть. А ты иди туда.

Кадам опустился на порог и сидел, подперев голову руками. Никого нет, никто не приехал! Все снег замел — и зверье, и людей. Один Кадам остался на белом свете.

Сидел Кадам, глядел в землю.

А из зарослей арчи вылетела сорока. Не та ли это, которую он убил третьего дня, или неделю, или год назад? Кадам не знал — он не смотрел, не видел.

Сорока летела к нему из арчатника, низко, а за ней десятки сорок, сотни других птиц. Птицы летели почти бесшумно. Они пронеслись мимо дома, мимо Кадама, почти задев его теплыми крыльями.

Киик появился на склоне горы. Старый киик, вожак, он высоко держал голову, увенчанную мощными, загнутыми назад рогами. Он всмотрелся, вслушался. Потом шагнул вперед — осторожно, разведочно. И длинными прыжками начал спускаться с откоса.

За кииком кучно шло его стадо. Киики — самцы и самки с детенышами — скатывались с горы волнами; казалось, что поверхность горы пришла в движение.

Вот и архары пошли с другой горы. Их много — десятки, сотни. Они идут, проходят, как на немислимом параде. Они пришли — хотя этого и не может быть! Они пришли к охотнику в минуту его смерти от одиночества среди ему подобных. Кого из них, скольких застрелил Кадам за свою жизнь?

Кадам не знал. Он, наверное, думал о том, что это было бы

справедливо — если бы пришли к нему сейчас звери, которых он любил и понимал, звери, убитые им в поте лица, в открытом бою, с риском для жизни и ради сохранения жизни.

Летели птицы, длинными прыжками двигались козлы. Они приближались к Кадамову дому, они обтекали его и уходили дальше, к реке. Кадам был теперь не один — сотни живых существ окружали его.

Барсы шли поодиночке, им неведомо стадное чувство.

Легко бежали розовые рыси на длинных ногах.

Ковылял, переваливаясь, медведь, и жирные киики не боялись его.

— Эй, э-ге-гей! — закричал всадник, возникший в полусотне метров на тропе, ведущей с перевала. За первым всадником ехал второй.

Кадам поднял голову — животные уходили в густеющих сумерках к реке, последние из них исчезли в зарослях на берегу. Они сделали свое дело, пришли — а теперь уходили.

Поднявшись, Кадам шагнул навстречу всадникам — и засмыл, испуганно и изумленно вглядываясь в снег. Весь снег вокруг, куда хватает глаз, был истоптан, изрыт свежими звериными следами.

Кадам нагнулся и, осторожно проводя по снегу рукой, ощупал следы негнушимися пальцами: здесь прошел барс, здесь архар. А здесь — волк.

Всадники подъехали к Кадаму — мужчина и женщина. Одежда их обледенела, они словно бы покрылись хрустальной оболочкой, кое-где треснувшей.

— Послушай, уважаемый, — спросил старик с седла. — Кадам где здесь живет?

Кадам смотрел на следы, на всадников, снова на следы.

— Приехали... — сказал Кадам, беря лошадей под уздцы. — Приехали...

— Этот дом? — спросил старик. — А где Кадам?

— Все правильно, — сказал Кадам. — Я Кадам.

— Кадам! — воскликнул старик, слезая с седла. — А я тебя сразу и не узнал. Второй раз уже не узнал!

Кадам удивленно взглянул на старика — он не знал этого человека.

— Радуетесь! — объяснил старик, повернувшись к женщине.

Держа поводья, Кадам открыл двери своего дома и пропустил приехавших. В одной рубашке выскочил Джура, завел лошадей в конюшню. Пегий меринок старика еле передвигал ноги.

А Кадам опустился на колени в снег, на следы.

Снег был чист, нетронут, как свежевыглаженное полотно.

Кадам поднялся, оглянулся — вокруг него лежало ровное, покрытое голубым искрящимся снегом пространство.

Беспомощно, недоуменно глядел Кадам.

Из близкого арчатника донесся резкий птичий голос, Кадам всмотрелся, заметил в кустах сороку и вздохнул, наконец, облегченно. Беспокойная эта птица вертелась на ветке, поглядывала на Кадама и не улетала.

Медленно, не скрываясь, шел охотник Кадам к арчатнику, шел, растворяясь в голубизне вечернего снега, в синих сумерках, ползущих ему навстречу из-за перевала.

עיריית חיפה/מינהל חת"ר
היחידה לרבות השכונות
המס' 70870/3/53
מס' המכא"י

70870/3

עיריית חיפה
מערכת הרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדטסין - ספריה
מס. מלאי.....

